Бруклинские глупости

Автор:
Пол Остер

Бруклинские глупости

Пол Бенджамин Остер

Литературные хиты: Коллекция

Натан Гласс перебирается в Бруклин, чтобы умереть. Дни текут размеренно, пока обстоятельства не сталкивают его с Томом, племянником, работающим в букинистической лавке. «Книга человеческой глупости», над которой трудится Натан, пополняется ворохом поначалу разрозненных набросков. По мере того как он знакомится с новыми людьми, фрагменты рассказов о бесконечной глупости сливаются в единое целое и превращаются в историю о значимости и незначительности человеческой жизни, разворачивающуюся на фоне красочных американских реалий нулевых годов. «Бруклинские глупости» – это неторопливое и искреннее повествование от одного из самых значительных американских писателей.

Пол Остер

Бруклинские глупости

Моей дочери Софи посвящается

Paul Auster

The Brooklyn Follies

Copyright © 2006 by Paul Auster All rights reserved

© Таск С., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. «Издательствво «Эксмо», 2020

* * *

Увертюра

Я искал место, чтобы тихо умереть. Кто-то посоветовал мне Бруклин, и на следующее утро я отправился туда из Уэстчестера, чтобы провести рекогносцировку на местности. Последний раз я был здесь пятьдесят шесть лет назад, и в памяти ничего не осталось. Мне было три года, когда родители отсюда уехали, и теперь инстинкт привел меня, как раненого пса, в родные места. Местный агент по недвижимости показал мне шесть или семь квартир в домах из бурого песчаника, и к обеду я снял две комнаты в небольшом доме с внутренним двориком на Первой улице, в двух шагах от Проспект-парка. Я еще не видел своих соседей и не горел желанием. Меня вполне устраивало, что с девяти до пяти они на работе и что детей у них нет, – значит, днем тишина. То, что мне нужно. Тихо кончить свою безрадостную, дурацкую жизнь.

На наш дом в Бронксвилле уже нашелся покупатель, так что по завершении сделки вопрос о деньгах сам собой отпадал. Мы с моей бывшей женой договорились поделить вырученную сумму поровну. Имея четыреста тысяч долларов в банке, я мог спокойно ждать, когда испущу дух.

Поначалу я не знал, куда себя деть. После тридцати одного года мотания между пригородом и манхэттенским офисом страховой компании «Мид-Атлантик» вдруг выяснилось, что в сутках слишком много часов. Примерно через неделю меня проведала моя замужняя дочь Рэйчел, живущая в Нью-Джерси. Тебе нужно чем-то себя занять, сказала она, придумать какое-нибудь дело. Притом что Рэйчел – девушка неглупая, защитила докторскую по биохимии в университете Чикаго и ведет научные изыскания в крупной фармакологической компании под Принстоном, она, как и ее мать, изрекает исключительно банальности. Не проходит дня, чтобы я не услышал от нее какой-нибудь избитой фразы или готового рецепта из тех, что всегда отыщутся на свалке современной доморощенной философии.

Я ей объяснил, что могу не дотянуть до конца года и что в гробу я видал все эти «дела». Рэйчел уже готова была заплакать, но она сдержала слезы и назвала меня бездушным эгоистом. Неудивительно, добавила она, что «мама», в конце концов, с тобой развелась. Чаша ее терпения переполнилась. Жизнь с таким человеком, как ты, должна была превратиться для нее в бесконечную пытку, в сущий ад. «Сущий ад». Бедная Рэйчел, от себя не уйдешь. Двадцать девять лет прожить на свете и не разродиться ни одной оригинальной мыслью, которая бы принадлежала ей и только ей.

Да, я бываю несносным, но только изредка и непреднамеренно. Когда со мной все в порядке, милее и доброжелательнее человека вы не найдете. Нельзя успешно страховать жизнь, не находя общего языка с клиентом, во всяком случае, на протяжении тридцати лет. Надо уметь расположить к себе. Уметь слушать. Уметь «обаивать». Всеми этими и другими качествами я обладаю. Не стану отрицать, бывали и прорухи, но, согласитесь, на то и брак с его подводными рифами, чтобы мы налетали на них время от времени. Он таит в себе яд, особенно если ты, скорее всего, не создан для семейной жизни. Мне нравилось заниматься любовью с Эдит, но через четыре-пять лет страсть куда-то улетучилась, и постепенно мало что осталось от идеального супруга. Послушать Рэйчел, так и отец из меня вышел никудышный. Я не собираюсь оспаривать ее слова, но справедливости ради замечу, что я по-своему любил их обеих. Порой я действительно оказывался в объятиях других женщин, но я никогда не относился к этим романам всерьез. И развод не был моей идеей. Как бы там ни складывалось, я намеревался оставаться с Эдит до конца. Это она захотела свободы, и, с учетом всех моих грехов и грешков, я не вправе ее винить. После тридцати трех лет, прожитых под одной крышей, мы разбежались, в сущности, опустошенные.

Фразу о том, что дни мои сочтены (чистейшая гипербола), я бросил в запале, в ответ на бесцеремонные советы Рэйчел. Рак легкого перешел у меня в стадию ремиссии, и слова онколога после недавнего теста внушали определенный оптимизм. Это еще не значит, что он меня убедил. Шок от известия, что у меня рак, оказался слишком сильным, и я до сих пор не верил в вероятность благополучного исхода. Я давно распрощался с этим миром, и после того как у меня вырезали опухоль и я прошел изматывающий курс радио- и химиотерапии, после всех этих приступов тошноты и головокружения, после выпадения волос и паралича воли, после того как я потерял жену и работу, – где было взять силы жить дальше? Отсюда Бруклин. Отсюда бессознательное возвращение к началу начал. Мне было под шестьдесят, и сколько еще отпущено, неизвестно. Двадцать лет? Два месяца? Главное, ничего не принимать на веру. Пока дышится, надо учиться жить заново. Но даже если дышать осталось недолго, нельзя сидеть сложа руки и ждать конца. Моя ученая дочь, как всегда, была права, хоть я по своему упрямству и отказывался это признать. Я должен был что-то делать. Оторвать зад от дивана и чем-то заняться.

В новую квартиру я въехал ранней весной, и первые недели заполнял тем, что обследовал близлежащие кварталы, подолгу бродил по парку или сажал цветы во дворике, на маленьком пятачке земли, который до моего появления годами был завален всяким хламом. Я постриг заново отросшие волосы в парикмахерской на Седьмой авеню в районе Парк Слоуп. Я брал напрокат фильмы в видеосалоне «Киношный рай» и частенько проводил время на «Чердаке Брайтмана» – в букинистической лавке, где книги были расставлены и навалены как попало, а заправлял этим бардаком ярко одетый педик Гарри Брайтман (о нем позже). Завтракал я в основном дома, но готовить я не люблю и повар из меня никудышный, поэтому обедал и ужинал я в ресторанчиках – всегда один, с раскрытой книжкой, медленно разжевывая каждый кусок, чтобы максимально растянуть этот процесс. Побывав в разных заведениях, я остановил свой выбор на ресторане «Космос». Еда там была в лучшем случае средняя, зато я сразу запал на хорошенькую официантку-пуэрториканку по имени Марина. Она была вдвое моложе меня и замужем, что исключало роман, но я не мог оторвать от нее глаз, к тому же она со мной была так мила, так охотно смеялась над моими не самыми удачными шутками, что в ее отсутствие я просто терял покой. Рассуждая с сугубо антропологических позиций, я для себя быстро открыл, что бруклинцы гораздо охотнее вступают в разговор с незнакомым человеком, чем любое сообщество из тех, с какими мне дотоле приходилось встречаться. Они запросто суют свой нос в чужие дела (пожилая женщина распекает молоденькую мамашу за то, что та недостаточно тепло одела своих детей,

а прохожий может отчитать владельца собаки за то, что тот слишком сильно натягивает поводок); из-за места на парковке они способны сцепиться, как истеричные малыши; разродиться блестящим афоризмом для них раз плюнуть. Однажды я зашел позавтракать в переполненную забегаловку с немыслимым названием «Ля пончик сказка». Я хотел попросить пирожок с реганом, а получилось у меня «пирожок с Рейганом». Парень за стойкой, не моргнув глазом, ответил: «Пирожки с Рейганом кончились, а ватрушку с Никсоном не желаете?» На автомате. Я чуть не уписался.

Вскоре после этой оговорки мне в голову пришла идея, которую моя дочь Рэйчел наверняка одобрила бы. Не сказать, что идея такая уж богатая, но все же лучше, чем ничего, и если от нее не отступать, а, наоборот, последовательно разрабатывать, то вот тебе и «дело», этакая детская лошадка, на которой можно ускакать от своего полусонного праздного существования. Затея-то пустячная, но название я решил ей дать громкое, чтобы не сказать помпезное, дабы уверить самого себя в том, что я собираюсь заняться чем-то важным: «Книга человеческой глупости». В ней я вознамерился описать в простой и доходчивой форме все ошибки и оплошности, нелепые ситуации и идиотские выходки, проявления слабости и недомыслия, – все, чем была так славна моя долгая и путаная жизнь. Если не хватит собственных историй, напишу про друзей и знакомых, а если и этот источник иссякнет, обращусь к Истории с ее неисчерпаемыми примерами человеческой глупости, от приснопамятных времен до наших дней. По крайней мере, будет над чем посмеяться. У меня не было никакого желания выворачивать душу наизнанку или погружаться в мрачные раздумья. Тон легкий и ироничный, а цель одна: развлекать себя, желательно каждый день и подольше.

Слово «книга» в данном случае неточное. Пользуясь чем придется – отрывными желтыми блокнотиками, стандартной бумагой, оборотной стороной конвертов, навязчивыми бланками на получение кредитных карточек и всяких займов, – я делал всего лишь хаотичные наброски, записывал невпопад анекдоты, и все это отправлялось в картонную коробку до следующей истории. В моем безумии отсутствовал метод. Отдельные заметки сводились к короткому абзацу, а столь любезные моему сердцу спунеризмы [1 - Случайная перестановка звуков или слов (напр. мошки с кышками вместо кошки с мышками). – (Зд. и далее прим. перев.)] и малапропизмы [2 - Подмена слова близким по звучанию (напр. Есть ли жизнь на Марксе?).] состояли вовсе из одной фразы. Так, в школе у меня с языка однажды сорвался «голеный осурец» вместо «соленый огурец», а во время одной из наших с Эдит семейных разборок я глубокомысленно изрек: «Я увижу, когда поверю своими глазами». Всякий раз, прежде чем приступить к делу,

я закрывал глаза и давал мыслям полную свободу. Расслабляясь таким образом, я мог выудить из памяти давно, казалось бы, забытые моменты. Так я вспомнил инцидент в шестом классе, когда на уроке географии полную тишину вдруг нарушил долгий и пронзительный, как звук трубы, пук в исполнении Дадли Франклина. Класс дружно грохнул – что может быть смешнее для одиннадцатилетних подростков, чем испускание ветра? Однако этот конфуз так бы и остался в ряду себе подобных, если бы не одно обстоятельство, позволившее ему подняться до классических высот, стать своего рода шедевром в школьных анналах. Простодушный Дадли признался в своем авторстве. «Я извиняюсь», – сказал он, потупившись и заливаясь краской, пока не сделался цвета свежевыкрашенной пожарной машины. Но в таких вещах нельзя признаваться публично, есть же неписаный закон, первое правило американского этикета. Бздеж анонимен, он исходит ниоткуда и принадлежит всем и никому в отдельности, и даже если любой из присутствующих может пальцем указать на виновника, единственно правильной линией поведения остается несознанка. Дадли Франклина подвела честность, за что он жестоко поплатился. С этого дня его звали не иначе как Я-извиняюсь-Франклин, и эта кличка закрепилась за ним до окончания школы.

Записываемые мной истории попадали под разные рубрики, и после месяца работы, осознав необходимость в некой системе, вместо одной картонной коробки я обзавелся несколькими. Одна – для словесных ляпов, вторая – для опрометчивых действий, третья – для вывернутых наизнанку идей, четвертая – для публичных конфузов и т. д. Мало-помалу во мне проснулся интерес к бурлескным мгновениям повседневной жизни. К банальным спотыканиям и ударам по голове, которых в моей биографии хватало. К неизбежно выскальзывающим из нагрудного кармана рубашки очкам, стоит только наклониться завязать шнурки ботинок (а потом, чтобы выставить себя уже полным недотепой, по инерции делаешь пару шагов вперед и с ужасом слышишь звонкий хруст под ногами). Начиная с детского возраста подобные недоразумения преследовали меня на каждом шагу. Но этими, можно сказать, заурядными событиями дело не исчерпывалось. Однажды в пятьдесят втором году, на пикнике по случаю Дня труда, я широко зевнул, и мне в рот залетела пчела. Вместо того чтобы выплюнуть, я ее от неожиданности проглотил. А как-то раз, лет семь назад, я поднимался по трапу самолета, зажав посадочный талон между большим и средним пальцем, вдруг сзади меня подтолкнули, и мой талон умудрился проскользнуть в узюсенькую щель между трапом и самолетом, после чего, подхваченный ветром, отправился в самостоятельный полет.

Это лишь несколько примеров. В первые же пару месяцев я записал десятки подобных историй, но при всем моем старании выдерживать легкий и непринужденный тон мне не всегда удавалось. У каждого бывают тяжелые минуты, и я, признаюсь, нередко впадал в тоску и меланхолию. По роду деятельности мне приходилось торговать смертью, и в периоды депрессии не так-то просто бывало отрешиться от тягостных воспоминаний, связанных с разными клиентами и их личной жизнью, в которую меня посвящали. Позже добавилась еще одна коробка, с пометкой «Судьба». Первым туда попал Йонас Вайнберг. В 1976 году я застраховал его жизнь на миллион долларов, огромную по тем временам сумму. Он недавно отпраздновал свое шестидесятилетие, работал как специалист по внутренним болезням в Пресвитерианском госпитале и говорил по-английски с легким немецким акцентом. Страхование жизни – процесс не безболезненный. В трудных, порой мучительных спорах с клиентами надо уметь гнуть свою линию. Человек, задумывающийся о своей смерти, неизбежно настраивается на серьезный лад, поэтому разговор с ним – это не только деньги, но и метафизические вопросы. В чем смысл существования? Сколько мне еще осталось? Чем после своего ухода я могу помочь близким людям? В силу профессии доктор Вайнберг остро ощущал хрупкость человеческой жизни, понимал, как легко стереть очередное имя в Книге Бытия. Мы встретились в его квартире, неподалеку от Центрального парка, я рассказал ему о плюсах и минусах разных страховых полисов, и он ударился в воспоминания. Родился он в шестнадцатом году в Берлине, отец погиб в окопах Первой мировой, так что его, единственного ребенка, воспитала мать-актриса, женщина отчаянно независимая, нервная, совершенно не думавшая о повторном замужестве. Если я правильно понял доктора Вайнберга, его мать отдавала предпочтение женщинам, и можно предположить, что в бурные годы Веймарской республики она демонстрировала свои предпочтения вполне открыто. Йонас, по контрасту с решительной фрау Вайнберг, был мальчиком тихим, книжным, примерным учеником, мечтавшим о карьере ученого или врача. Когда Гитлер захватил власть, ему было семнадцать, и мать, не теряя времени, предприняла шаги, чтобы увезти сына из Германии. Мальчика согласились забрать к себе родственники его отца, жившие в Нью-Йорке. Мать отправила его через океан весной тридцать четвертого, сама же, предчувствуя опасности, которые сулил Третий рейх гражданам неарийского происхождения, проявила упрямство и осталась. Сколько поколений ее семьи, коренных немцев, прожили в этой стране, сказала она сыну, и какой-то там тиран с двумя извилинами в мозгу не заставит ее отправиться в изгнание. Хоть умри, она будет держаться до конца.

И ведь продержалась! Хотя доктор Вайнберг был скуп на детали (возможно, он сам не знал всех подробностей), из его рассказа можно было понять, что на крутых поворотах не обошлось без помощи друзей-христиан, и в тридцать восьмом не то тридцать девятом ей удалось выправить фальшивые документы. Она радикально изменила свою внешность – для эксцентричной актрисы дело нехитрое, – и под сугубо немецкой фамилией устроилась бухгалтером в галантерейный магазин в маленьком городке под Гамбургом – безвкусно одетая, очкастая блондинка. На момент окончания войны весной сорок пятого она не видела своего сына одиннадцать лет. К тому времени почти тридцатилетний Йонас Вайнберг заканчивал резидентуру в госпитале Бельвю. Узнав, что его мать пережила войну, он сразу начал хлопотать о приглашении ее в Америку.

Все было продумано до мелочей. Самолет приземляется во столько-то, Йонас ждет ее у выхода там-то. Он уже собирался ехать в аэропорт, когда раздался звонок: срочная операция. У него не было выбора. Как ни хотел он встретить мать, профессиональный долг обязывал его прийти на помощь пациенту. В ход пошел новый план. Он позвонил в авиакомпанию и попросил, чтобы их представитель встретил его мать и объяснил ей, что его срочно вызвали, пусть она возьмет такси и приедет в Манхэттен по такому-то адресу. Ключ он оставит у портье. Она поднимется в квартиру и подождет его. Фрау Вайнберг так и сделала. Таксист выжал сцепление. Спустя десять минут он не справился с управлением и врезался во встречную машину. И он, и его пассажирка серьезно пострадали.

В это время доктор Вайнберг находился в госпитале. Закончив операцию, которая продлилась чуть больше часа, он вымыл руки, переоделся и вышел из раздевалки, сгорая от нетерпения поскорей увидеть мать. Прямо на него выехала каталка с пациенткой, которую везли на операционный стол. Его мать. Она умерла, не приходя в сознание.

Неожиданная встреча

Все, что я до сих пор написал, преследовало единственную цель – представиться читателю и подготовить почву для истории, которую я собираюсь рассказать. Честь называться Героем этой истории принадлежит моему племяннику Тому

Вуду, единственному сыну моей покойной сестры Джун. Майский Жук, как мы ее в детстве звали, родилась через три года после меня, и именно ее появление на свет заставило наших родителей переехать из тесной бруклинской квартиры в собственный дом на Лонг-Айленде. Мы с ней были очень дружны, и двадцать четыре года спустя (через шесть месяцев после смерти отца) не кто иной, как я, вручил Джун в церкви ее будущему мужу, репортеру «Нью-Йорк таймс» Кристоферу Вуду. У них родились двое детей, Том и Аврора, мои племянники, и через пятнадцать лет брак распался. Еще через пару лет Джун снова вышла замуж, и вновь я подвел ее к алтарю. За ее вторым мужем Филипом Зорном, богатым маклером из Нью-Джерси, тянулся шлейф – две бывшие жены и взрослая дочь Памела. А однажды в середине августа, когда Джун ковырялась в саду под палящим солнцем, вдруг случилось кровоизлияние в мозг, и в ту же ночь ее не стало. Ей было каких-то сорок девять лет. Для ее старшего брата этот удар стал пострашнее канцера, который обнаружится у него через несколько лет и поставит его на грань смерти. Полный мрак.

После ее похорон я потерял Тома из виду, и только спустя почти семь лет, 23 мая 2000 года, мы с ним случайно столкнулись на «Чердаке Брайтмана». Том всегда мне нравился. Даже когда он еще только брал разгон, он уже отличался от своих сверстников и производил впечатление человека, который далеко пойдет. Если не считать дня похорон, наш с ним последний разговор состоялся в доме его матери в городе Саут Оранж, Нью-Джерси. Том только что окончил с отличием Корнелл и собирался изучать американскую литературу в университете Мичигана, где ему дали стипендию на четыре года. Мои предсказания на его счет сбывались, и во время семейного обеда мы все поднимали тосты за его успехи. Интересно, что в его возрасте я выбрал такую же стезю. В колледже я специализировался по английской литературе и вынашивал тайные мечты продолжить это дело, в какой-то момент, возможно, попробовать себя в журналистике, но ни на то, ни на другое меня не хватило. Вмешалась жизнь – армия, работа, женитьба, семейные обязанности, необходимость зарабатывать, вся эта рутина, неизбежно засасывающая человека, которого не хватает на большее, – но интерес к книгам не пропал. Чтение было моим бегством и утешением, моим, если хотите, эликсиром бодрости; я читал ради чистого удовольствия, наслаждаясь тишиной, когда только слова автора перекатываются в твоей голове. Том разделял мою страсть, и с пяти или шести лет он частенько получал от меня книги не только на день рождения или на Рождество, а просто когда мне попадалась книжка, которая, как мне казалось, могла его увлечь. Ему было одиннадцать – я познакомил его с Эдгаром По, и, поскольку о нем, среди прочих, он позже написал в своей дипломной работе, неудивительно, что Том захотел поделиться со мной своими соображениями, так

же как мне интересно было их выслушать. После обеда все вышли во двор, а мы с ним остались в столовой допивать вино за литературным разговором.

– За тебя, дядя Нат, – сказал Том, поднимая бокал.

– За тебя, Том, – сказал я. – И за «Воображаемый рай: живая мысль в Америке накануне Гражданской войны».

– Претенциозное название, но ничего лучше я не придумал.

– Претензия – это не так уж плохо. Во всяком случае, профессора сразу просыпаются. Ты ведь, кажется, получил высший балл за свою работу?

Скромный Том отмахнулся от такой мелочи.

– Я так понял, что ты там писал о По, но не только о нем. А о ком еще, если не секрет?

– Торо.

– По и Торо.

– Неудачная рифма, правда? Сплошные «о» во рту. Так и слышу изумленные возгласы. О! По! О! Торо!

– Не будем обращать внимание на такие пустяки. Зато горе тому, кто читает По и забывает про Торо. Ты не согласен?

Том широко улыбнулся и снова поднял бокал:

– За тебя, дядя Нат!

– За тебя, будущий профессор!

Мы сделали еще по глотку бордо. Поставив бокал, я попросил его изложить свою аргументацию.

– Речь идет о несуществующих мирах, – начал племянник. – Мое исследование – о заповедной территории, где человек находит прибежище, когда его существование в реальном мире делается невозможным.

– Мир идей.

– Вот именно. Сначала По. Анализ трех его произведений, мимо которых обычно проходят критики. «Философия мебели», «Коттедж Лэндора» и «Поместье Арнгейм». Каждое по отдельности – всего лишь курьез, не более того, а все вместе – сложная система человеческих устремлений.

– Никогда не читал. Даже и не слышал о таких.

– В них дается описание, соответственно, идеальной квартиры, идеального дома и идеального пейзажа. После этого я переключаюсь на Торо и исследую комнату, дом и пейзаж на примере «Уолдена».

– Сравнительный анализ.

– Никто не говорит о По и Торо через запятую. В американском сознании они на разных полюсах. До смешного. Пьяница южанин – реакционер в политике, аристократ в поведении, с безудержной фантазией. Трезвенник северянин – радикал во взглядах, пуританин в быту, с ограниченным воображением. По – сама изощренность и таинственный полумрак ночного замка. Торо – сама простота и яркий день в лесу. При всем несходстве родились они с разницей в восемь лет, то есть, в сущности, были современниками. И умерли сравнительно молодыми, в сорок и сорок пять. Можно сказать, они на пару прожили одну человеческую жизнь и не оставили после себя детей. Торо, скорее всего, сошел в могилу девственником, а По, хотя и женился на еще совсем юной кузине Вирджинии Клемм, есть основания считать, что она умерла раньше, чем между ними успело что-то произойти. Назовем это параллелями или совпадениями, не суть важно, важнее не эта внешняя канва, а внутренняя суть биографии того и другого. Каждый, на свой особый манер, попытался сочинить собственную Америку. В обзорах и критических статьях По сражался за новую американскую литературу, свободную от английского и, шире, европейского влияния. А труды Торо представляют собой беспрерывные атаки на статус-кво в стремлении научиться жить по-новому в этой стране. Оба верили в Америку, как и в то, что в настоящее время она пребывает в аду, совращенная бездушными машинами

и чистоганом. О каком мыслительном процессе среди этого лязга и грохота могла идти речь? Оба не знали, куда бежать. Торо перебрался в пригород Конкорда, сделался лесным отшельником, просто из желания доказать, что это реальный выход. Прояви смелость, отвергни правила, навязанные тебе обществом, и живи по своим законам. Зачем? Чтобы быть свободным. Свободным делать что? Читать книги, мыслить. Свободным написать такую вещь, как «Уолден». Что касается По, то он ушел в мир грез о человеческом совершенстве. Открой «Философию мебели» и ты увидишь, что его воображаемая комната служит тем же целям. Это место, где можно спокойно читать, писать, мыслить. Прибежище для раздумий, тихое святилище, где душа, наконец, обрела покой. Утопия? Да. Но при этом некая разумная альтернатива реалиям дня. Ведь Америка действительно пребывала в аду. Страна раскололась надвое, и все мы знаем, что? ее очень скоро ожидало. Четыре года хаоса и смертоубийства. Кровавая бойня, спровоцированная теми самыми машинами, которые должны были сделать нас богатыми и счастливыми.

Слушая своего юного родственника, такого умного и начитанного, я гордился, что прихожусь ему дядей. Его семья пережила потрясения в недавнем прошлом, но сам Том, судя по всему, достойно перенес разрыв между родителями, равно как и бунт семнадцатилетней сестры, которая в знак протеста после нового замужества матери взяла, да и ушла из дома. Том сохранял трезвый, созерцательный и несколько удивленный взгляд на действительность и стоял на твердой земле обеими ногами, что вызывало мое восхищение. Он, кажется, совсем не поддерживал отношений с отцом, который после развода перебрался в Лос-Анджелес и устроился в местную «Таймс», и, подобно сестре, хотя и в более мягкой форме, показывал отчиму, что не испытывает к нему особой любви и уважения. С матерью он был по-настоящему близок, и драму ухода Рори (Авроры) из семьи они переживали в равной степени, с отчаянием и надеждами, горечью пустого ожидания и вечными страхами за близкое существо. Из Рори, веселой и обаятельной, нахальство и бравада били ключом, все-то она знала, всех «имела в виду», и от нее, девочки спонтанной, можно было ждать любой выходки. Уже трехлетнюю мы с Эдит звали ее не иначе как Хохотушкой, и с годами она превращалась в такую семейную клоунессу, все более изощренную и буйную. Том, всего-то на два года старше, всегда за ней присматривал, а после ухода отца он стал для нее на время единственным фактором стабильности. Стоило ему поступить в колледж, как Рори окончательно отбилась от рук. Сначала сбежала в Нью-Йорк, а затем, после короткого примирения с матерью, и вовсе исчезла в неизвестном направлении. На момент вышеописанного обеда в честь Тома, получившего степень бакалавра, она успела родить ребенка без мужа, заскочить домой, чтобы бросить крошку

Люси на мою бедную сестру, и снова сгинуть. Через год и два месяца, на похоронах Джун, Том сообщил мне, что недавно Аврора неожиданно нагрянула к ним в гости, но через пару дней уехала вместе с ребенком. На траурной церемонии ее не было. Возможно, она бы и приехала, но никто не знал, как с ней связаться.

Несмотря на все семейные неурядицы и смерть матери, когда Тому было всего-то двадцать три года, я не сомневался, что парень не пропадет. Уж очень удачно для него все складывалось, да и не тот был у Тома характер, чтобы случайные ветры печальных перемен могли сбить его с пути истинного. На похоронах он ходил как в тумане, переполненный скорбью до краев. Наверно, мне следовало его приободрить, но я сам был раздавлен случившимся. Обнялись, поплакали – вот, собственно, и все общение. Потом он вернулся в Энн Арбор, и наша связь прекратилась. Я, конечно, виню себя, но и Том был уже не мальчик и в принципе сам мог меня найти, было бы желание. А если не меня, то свою кузину Рэйчел, которая в это время находилась, как и он, на Среднем Западе – училась в аспирантуре в Чикаго. Они знали друг друга с раннего детства и всегда хорошо ладили, но и с ней он ни разу не связался. Время от времени я испытывал уколы совести, но меня самого так прижали обстоятельства (проблемы с семьей, проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами), что в моей голове оставалось как-то мало места для Тома. Всякий раз, вспоминая о нем, я представлял себе напористого молодого ученого, неуклонно поднимающегося по академической лестнице. К весне 2000 года я был уверен, что он, молодой интеллектуал, раннее светило, работает в каком-нибудь престижном месте, в Колумбийском университете или, скажем, в Беркли, и пишет свою вторую, а то и третью книгу.

Вообразите же мое изумление, когда, оказавшись в то майское утро на «Чердаке Брайтмана», я увидел за конторкой своего племянника, отсчитывающего сдачу. К счастью, я увидел Тома раньше, чем он увидел меня. Бог знает какие неуместные слова сорвались бы с моих губ, если бы не десяток секунд, которые были в моем распоряжении, чтобы переварить увиденное. Речь не только о том, что он оказался мелкой сошкой в лавке подержанных книг, что само по себе невероятно, но также о пугающей перемене в его внешнем облике. Том всегда был полноват. Природа или, лучше сказать, отец-алкоголик наградили его широкой крестьянской костью, способной выдержать избыточный вес. В последнюю нашу встречу он еще был в сравнительно приличной форме. Грузноватый, но мускулистый и крепкий, с пружинистым шагом атлета. Семь лет спустя, набрав пятнадцать-семнадцать лишних килограммов, он выглядел рыхлым толстяком. Двойной подбородок, пухлые пальцы. Глаз потух, взгляд

неудачника. Удручающее зрелище.

Покупательница взяла книгу и отошла. Я занял ее место и, положив руки на конторку, подался вперед. Но Том в этот момент наклонился за упавшей монетой. Я прочистил горло.

– Привет, Профессор, – выдавил я из себя. – Сто лет тебя не видел.

Мой племянник разогнулся. Он вытаращился на меня так, будто не узнал, но через пару секунд, по мере того как на его лице расплывалась улыбка, я с облегчением подумал, что передо мной прежний Том. Пожалуй, улыбка стала печальной, и все же страх, что произошедшая с ним перемена необратима, немного отступил.

– Дядя Нат! – воскликнул он. – Что вы здесь делаете?

Он заключил меня в объятия раньше, чем я успел что-либо ответить. Я с удивлением почувствовал, что глаза мои увлажнились.

Прощай, мой двор

Я угостил его в «Космосе» ланчем. Несравненная Марина принесла нам клубные сэндвичи с индейкой и кофе со льдом. Я флиртовал с ней больше обычного – то ли хотел произвести впечатление на Тома, то ли просто был в приподнятом настроении. С опозданием понял, что успел соскучиться по нашему Профессору, к тому же мы с ним оказались близкими соседями в древнем царстве под названием Бруклин, Нью-Йорк.

На «Чердаке Брайтмана» он работал уже пять месяцев, и то, что я там ни разу его не видел, объяснялось тем, что он постоянно трудился на верхнем этаже, где составлял ежемесячный каталог редких книг и рукописей – торговля последними приносила Гарри, владельцу лавки, куда больший доход, чем сбыт подержанных книжек. Словом, Том не был мелкой сошкой и не сидел за кассовым аппаратом, просто в тот день он подменял кассира, отпросившегося к врачу.

Хвастаться, конечно, нечем, продолжал Том, но это все же лучше, чем крутить баранку такси, чем он занимался в Нью-Йорке после того, как бросил аспирантуру.

– Когда это случилось? – Я постарался не выдать своего разочарования.

– Два с половиной года назад. Я закончил курсовую и сдал устные экзамены, а вот с диссертацией забуксовал. Слишком большой кусок откусил, дядя Нат.

– Какой я тебе «дядя Нат». Зови меня, как все, Натаном. С тех пор, как умерла твоя мать, я уже не чувствую себя дядей.

– Пусть будет Натан, и все равно ты мой дядя, нравится тебе это или нет. Может, Эдит и перешла в категорию бывшей тетушки, но Рэйчел остается моей кузиной, а ты моим дядей.

– Ладно, Профессор, сойдемся на Натане.

– Тогда так, я зову тебя Натаном, а ты меня Томом. Никакого «Профессора», договорились? А то я испытываю неловкость.

– Но я всегда так звал тебя, с младых ногтей.

– А я тебя всегда звал дядей Натом.

– Убедил. Я капитулирую.

– Мы вступили в новую эру, Натан. Постсемейную, постстуденческую, поствчерашнюю, с разноцветными стеклышками.

– Поствчерашнюю?

– Началась сегодняшняя. И завтрашняя. О прошлом можно забыть.

– Слишком много воды утекло, да, Том?

Бывший Профессор закрыл глаза, запрокинул голову и поднял вверх палец, как будто хотел вспомнить нечто из той жизни. А затем мелодраматично, с нескрываемой иронией, прочитал по памяти начальные строки стихотворения Уолтера Рэйли «Прощай, мой двор»:

Мечты – пустое, радости – прошли,

Назад вернуться я смогу едва ли:

Любовь забыта, грезы отцвели,

От прошлого теперь – одни печали.

Чистилище

Никто не растет с мыслью, что ему свыше назначена судьба таксиста, в случае же Тома это можно рассматривать как особо изощренную форму епитимьи, как траур по несбывшимся надеждам. Нет, он не требовал от жизни чего-то особенного, но даже то немногое, чего он для себя хотел, оказалось недостижимым: закончить докторскую, получить место преподавателя английского в каком-нибудь университете и следующие сорок с лишним лет учить студентов и писать о разных умных книгах. Вот и вся мечта, плюс, наверно, жена и детишки. Прямо скажем, не бог весть что, но, побившись три года над диссертацией, Том с запозданием понял, что довести дело до конца ему не по силам. А если даже по силам, убедить себя в самоценности поставленной задачи он уже не мог. Тогда он уехал из Энн Арбора и вернулся в Нью-Йорк, двадцативосьмилетний недоучка, без малейшего представления, куда податься и что впереди.

Поначалу работа таксистом была не более чем временным решением, заполнением паузы – надо же платить за жилье, пока идут поиски чего-то более престижного. Несколько недель он присматривал место в частных школах, но вакансий в тот момент не было, и, постепенно втянувшись в двенадцатичасовую шоферскую смену, он утратил мотивацию. Временное становилось постоянным, и, хотя один внутренний голос говорил ему, что он скатывается в трясину, другой голос убеждал, что эта работа не такая уж скверная, надо только ясно представлять себе, что? делаешь и зачем, и тогда такси преподаст бесценные

уроки, каких нигде больше не получить.

Хотя Том не вполне понимал, в чем смысл этих уроков, кружа в своем дребезжащем желтом «Додже» день за днем, с пяти часов пополудни до пяти часов утра, шесть дней в неделю, он, вне всякого сомнения, какие-то уроки усвоил. Минусы этой работы были столь очевидны, столь всеобъемлющи, столь подавляющи, что тот, кто не мог их просто игнорировать, был обречен на безрадостное существование и постоянные жалобы и пени. Бесконечно тянущиеся часы, низкая зарплата, всевозможные риски, сидячий образ жизни – все это бесплатные приложения к профессии, и человек волен изменить их с тем же успехом, с каким он может изменить погоду. Сколько раз в детстве он слышал от матери эти слова? «Том, нельзя изменить погоду». То есть некоторые вещи надо принимать как данность. Соглашаясь с этим принципом, Том тем не менее продолжал проклинать метели и пронизывающие ветра, пробиравшие до костей. Вот и опять разыгралась метель. Вся его жизнь превратилась в постоянную борьбу с природными стихиями, впору было возроптать на судьбу. Но Том не роптал. И не жалел себя. Он нашел для себя способ расплатиться за собственную глупость. Надо постараться выжить, сохранив хотя бы остатки веры, и тогда можно на что-то надеяться. Нет, он уже не пытался выжать пользу из проигрышной ситуации. Том ждал каких-то серьезных перемен. До тех пор, говорил он себе, пока я не пойму, в чем будет их глубинная суть, я должен нести свой крест.

Он жил на углу Восьмой авеню и Третьей улицы, в студии, доставшейся ему в наследство от друга, а тому от его друга, переехавшего то ли в Питтсбург, то ли в Платсберг, – мрачной каморке со встроенным стенным шкафом, с железной кабинкой-душем, двумя окошками встык с кирпичной стеной, с кухонькой, где с трудом помещались двухконфорочная газовая плита и бар-холодильник. Книжный стеллаж, стул, стол, матрас на полу – всё в одном экземпляре. В такой крошечной квартирке ему еще никогда жить не приходилось, но при арендной плате четыреста двадцать семь долларов в месяц это была находка. Собственно, в первый год он там почти и не жил. Он все больше пропадал в городе: разыскивал школьных товарищей и друзей по колледжу, получивших работу в Нью-Йорке, обзаводился новыми знакомствами, спускал денежки в барах, при случае заводил любовные интрижки, – одним словом, пытался вести нормальную жизнь – или что-то похожее на жизнь. Чаще всего эти попытки общения заканчивались болезненным вакуумом. Бывшие друзья, помнившие его блестящим студентом и остроумным собеседником, приходили в ужас от того, что? с ним стало. Том вылетел из касты избранных, и его падение подтачивало уверенность сверстников в их силах, приоткрывало дверь в их собственное

будущее, окрашенное пессимизмом. Срабатывал и фактор избыточного веса, его пугающие размеры, но еще больше всех пугало в нем отсутствие каких бы то ни было планов, нежелание совершить над собой усилие и попытаться снова встать на ноги. О своей возможной новой работе он говорил как-то странно, почти в религиозных терминах – духовная сила, поиск пути через терпение и покорность, – слушая его, люди терялись, начинали ерзать на стуле. Нельзя сказать, что Том поглупел, просто никто как-то не горел желанием его слушать, особенно женщины, ждущие от молодого человека ярких идей и готовой программы покорения мира. Вместо этого Том расхолаживал их своими сомнениями и духовными исканиями, своими туманными разглагольствованиями о реальности, своей робостью. Таксист – это еще куда ни шло, но философствующий таксист в камуфляже, с большим брюхом, – это уже чересчур. Положим, открытой неприязни он у барышень не вызывал, но закрутить с ним роман или тем более строить с ним семью они явно не спешили.

Он все чаще проводил время наедине с собой. Его самоизоляция сделалась опасной. Достаточно сказать, что свое тридцатилетие он отпраздновал в одиночестве. Точнее, он про это забыл, а желающих напомнить не нашлось, и про день рождения он вспомнил в два часа ночи, в Квинсе, после того как отвез парочку подвыпивших бизнесменов в популярный стрип-бар «Сад земных наслаждений». Разменять четвертый десяток он решил в закусочной «Метрополитен» на Северном бульваре. Сев за стойку, он заказал шоколадный коктейль, два гамбургера и картофель фри.

Если бы не Гарри Брайтман, неизвестно, сколько еще он бы блуждал в этом чистилище. Книжная лавка находилась на соседней Седьмой авеню, и Том постоянно заглядывал «на чердак». Он редко покупал, просто ему нравилось рыться в старых книгах. Чего там только не было – от давно не переиздающихся словарей и забытых бестселлеров до Шекспира в кожаном переплете, и в этом бумажном мавзолее, вдыхая пыль и какие-то особые запахи, Том чувствовал себя как дома. В один из своих первых визитов Том спросил про какую-то биографию Кафки, и у них с Гарри завязался разговор. За этим разговором последовали другие. Поскольку Гарри большую часть времени проводил наверху, через два-три месяца он уже знал, откуда Том родом, тему его незаконченной диссертации («Кларель», эпическая поэма Мелвилла, которую мало кому удалось дочитать до конца), а также то, что мужчины его определенно не интересуют. Последнее обстоятельство хотя и огорчило Гарри, однако не помешало ему сообразить, что этот парень – настоящая находка для его бизнеса, связанного с редкими книгами и рукописями. Он предложил ему место, а потом много раз повторял свое предложение, и с тем же упорством, с каким Том отказывался, он

добивался своего. Гарри понимал: парень в метаниях, вслепую борется с темным ангелом отчаяния, но рано или поздно должен выкарабкаться, и когда это произойдет, вся эта таксистская затея покажется ему вчерашним бредом.

Беседовать с Гарри было одно удовольствие. Забавный, прямодушный, он забалтывался, впадая при этом в такие противоречия, что невозможно было предположить, чем он тебя огорошит в следующую секунду. На первый взгляд еще один стареющий нью-йоркский педик со всеми пародийными атрибутами: крашеные волосы и брови, шелковые галстуки и яхтсменские блейзеры, женственные повадки. Но стоило познакомиться с ним поближе, и тебе открывался человек острого ума. В его манере общения, напоминавшей спарринг, лежала провокация: он жалил тебя хитрыми выпадами самого интимного свойства, и ты волей-неволей тоже стремился нанести достойный удар. Обычного ответа для Гарри было недостаточно, ему подавай нечто с искрой, с пузырьками, дескать, ты не из тех зануд, что толпой влачатся по дороге жизни. А поскольку в те дни именно таким, одним из толпы, Том сам себе казался, ему, чтобы не ударить перед Гарри в грязь лицом, приходилось делать над собой особые усилия. Ему нравилось, что надо быть постоянно начеку, находить мгновенные ответы, заставлять мозг нестандартно мыслить. Не прошло и четырех месяцев со дня их первого разговора, они даже не успели толком подружиться, а Том уже понял, что во всем большом городе нет человека, с которым он мог бы говорить так же открыто, как с Гарри Брайтманом.

И все же Том на все его предложения отвечал «нет». За полгода он придумал столько отговорок, нашел столько убедительных причин, почему он не годится для этой роли, что это давно превратилось в своего рода анекдот, рассказываемый на разные лады. Вначале Том, упражняясь в защите своего нынешнего положения, развивал хитроумную теорию об онтологических ценностях образа жизни таксиста.

– Это кратчайший путь к постижению бесформенности сущего, – утверждал он, играя испытанным академическим жаргоном и стараясь не выдать себя улыбкой, – уникальный въезд в хаотические лабиринты универсума. Никогда не знаешь, куда тебя через минуту забросит судьба. Ночной клиент садится на заднее сиденье, и ты едешь по его указке. Ривердейл, Форт Грин, Мюррей Хилл, Фар Рокавей, обратная сторона луны. Каждый маршрут произволен, каждое решение случайно. Ты подчиняешься, ты едешь, ты доставляешь ездока по назначению – но от тебя мало что зависит. Ты – игрушка в руках богов, лишенная

собственной воли. Ты находишься в машине с единственной целью – исполнять прихоти других людей.

– Те еще прихоти! – живо отзывался Гарри, и в глазах его вспыхивали мстительные огоньки. – Я себе представляю. Небось, всякого насмотрелся в своем зеркальце.

– Рассказать – не поверите. От онанизма и прелюбодеяния до пьяных оргий. После смены на заднем сиденье такси можно найти все виды физиологических отправлений.

– И кто все это убирает?

– Я, кто же. Это часть моей работы.

– Ах, молодой человек, – тут Гарри касался лба тыльной стороной ладони, изображая из себя томную диву. – Если вы поступите в мое распоряжение, я вам обещаю: никаких физиологических отправлений. Книги в этом смысле совершенно безопасны.

– Но есть и свои плюсы, – спешил добавить Том, не желая оставлять за Гарри последнее слово. – Мгновения божественной красоты, приливы счастья, маленькие чудеса. Например, ты едешь по совершенно опустевшей Таймс-сквер в полчетвертого утра, один во вселенной, и откуда-то с небес на тебя струится неон. Или на рассвете разгоняешься до семидесяти пяти по Белт Парквею и через поднятое стекло вдыхаешь запахи океана. Или въезжаешь на Бруклинский мост, и прямо на тебя выплывает полная луна, такая желтая, такая огромная, что ты себе кажешься неземным существом, парящим в воздухе. Никакая книга, Гарри, не даст вам подобных ощущений. Это метафизика. Ты бросаешь на земле свое бренное тело и растворяешься в иных мирах.

– Для этого не надо быть таксистом, мой мальчик. Достаточно сесть за руль обыкновенной машины.

– Не скажите. Там отсутствует элемент рутины, а без него невозможны эти взлеты. Изнеможение, скука, отупляющее однообразие. И вдруг, из ниоткуда, порыв свободы, несколько мгновений настоящего, невозможного блаженства. Но за это приходится платить. Нет рутины – нет блаженства.

Спроси его, почему он так сопротивлялся, он бы не объяснил. Хотя Том сам не верил и в десятую долю того, что? говорил, каждый раз он изощрялся в каких-то новых, совершенно смехотворных контраргументах и самооправданиях. Он понимал, в его интересах принять приглашение Гарри, но стать помощником у торговца книгами… не самая, прямо скажем, радужная перспектива, не таким он себе представлял завтрашний день, думая о коренных переменах в жизни. Слишком робкий шажок, никакого размаха после всего, что он потерял. Гарри продолжал его охмурять, но чем больше Том презирал свое нынешнее положение, тем упрямее защищал свою пассивность, и, наоборот, чем пассивнее он становился, тем больше себя презирал. То, что ему стукнул тридцатник, подействовало на него отрезвляюще, но не настолько, чтобы засучить рукава. Сидя за стойкой закусочной «Метрополитен», он дал себе зарок в ближайший месяц найти что-нибудь сто?ящее, но месяц прошел, а он по-прежнему числился в таксопарке «3-D» [3 - 3-D – от «three-dimensional» (англ.) – трехмерное пространство.]. Когда-то Том задавался вопросом, что? бы значила эта аббревиатура, и вот теперь ответ был найден: «Darkness, Disintegration, Death» [4 - Мрак, Распад, Смерть.]. В очередной раз пообещав Гарри подумать, Том так ни к чему и не пришел. Если бы однажды холодной январской ночью на углу Четвертой улицы и Авеню Би какой-то обкурившийся заика не ткнул ему в рот пистолет, кто знает, сколько бы это еще продолжалось? Наконец до него дошло. На следующее утро он пришел в книжную лавку, чтобы сказать «да». Таксистская эпопея закончилась.

– Мне тридцать лет, – сказал он своему новому боссу, – и у меня двадцать килограммов лишнего веса. Я уже больше года не спал с женщиной. В последние две недели мне снится один и тот же сон – я стою в пробках. Может, я не прав, но, кажется, пора что-то менять в этой жизни.

Стена рушится

Итак, Том нанялся на работу к Гарри Брайтману, которого не существовало. Выдуманное имя, выдуманная биография. Гарри охотно рассказывал о своем прошлом, то есть сочинял направо и налево, и, следовательно, то, каким его себе представлял Том, имело весьма отдаленное отношение к реальному персонажу. Не было ни детства в Сан-Франциско, ни матери, занимающей видное положение в обществе, ни отца с врачебной практикой. Не было

английского колледжа в Эксетере и американского университета Брауна. Никто не лишал его наследства. Не убегал он из родительского дома в Гринвич-Вилледж летом пятьдесят четвертого. И скитаний по Европе тоже не было. Родом из Буффало, Нью-Йорк, Гарри никогда не писал картин в Риме, не заправлял театром в Лондоне, не консультировал аукционный дом в Париже. Его отец был сортировщиком писем. В восемнадцать лет Гарри покинул отчий дом, но записался он не в колледж, а в морской флот. Спустя четыре года отзанимался три семестра в чикагском университете Де Пол, но потом решил, что для учебы он староват, и бросил занятия. В Чикаго неожиданно подзадержался, прежде чем перебраться в Нью-Йорк, где (тут он не соврал) прожил без малого девять лет и взялся за книжное дело, в котором не смыслил ни бельмеса. В то время его звали не Гарри Брайтман, а Гарри Дункель, и прилетел он в город Большого Яблока вовсе не из Лондона после банкротства в результате махинаций на лондонской бирже, а из чикагского аэропорта О’Хэйр, и последние два с половиной года его почтовым адресом была федеральная тюрьма, Джолиет, штат Иллинойс.

Не потому ли Гарри не спешил говорить правду? Не так-то просто в пятьдесят семь лет начать с чистого листа, когда у тебя ничего нет, кроме мозгов и хорошо подвешенного языка. Тут сто раз подумаешь, прежде чем открыть рот. Гарри не стыдился за содеянное (ему не повезло, его поймали, а разве невезение считается преступлением?), но и полоскать на людях грязное белье не входило в его намерения. Слишком долго и много он вкалывал, чтобы обустроить свой маленький мирок, и ему не хотелось приоткрывать перед посторонними черную полосу, через которую ему пришлось ради этого пройти. Вот почему Том ничего не знал про чикагский период, включавший в себя бывшую жену Гарри, его тридцатилетнюю дочь и художественную галерею на Мичиган-авеню, которой тот заправлял ни много ни мало девятнадцать лет. Принял бы Том приглашение Гарри, знай он о его мошенничестве и тюремном сроке? Бабушка надвое сказала, так что на всякий случай Гарри предпочел держать язык за зубами.

И вот однажды, дождливым апрельским утром, примерно через месяц после моего переезда в Бруклин и спустя три с половиной месяца после воцарения Тома «на чердаке» у Брайтмана, эта построенная на обманах стена вдруг рухнула в одночасье.

Все началось с неожиданного визита дочери Гарри. Она вошла в лавку, мокрая как мышь, странное всклокоченное существо с бегающим взглядом и отвратительным запахом. Так пахнут никогда не моющиеся бомжи и городские

сумасшедшие.

– Я хочу увидеть отца, – с этими словами она скрестила на груди руки, ее желтые никотиновые пальцы мелко подрагивали.

Поскольку Том не ведал ни сном ни духом о прошлой жизни Гарри, он просто не понял, о чем речь.

– Вы, наверно, ошиблись, – сказал он.

– Кто ошибся?! – тотчас взвилась девица. – Я Флора!

– Боюсь, Флора, что вы ошиблись дверью.

– Я заявлю на тебя в полицию и тебя арестуют, понял? Тебя как зовут?

– Том.

– Ну, конечно. Том Вуд. Я всё про тебя знаю. Земную жизнь пройдя до половины, я оказалась в сумрачном лесу. Ах, кому я это говорю! Ты же из тех, кто за деревьями не видит леса.

– Послушайте, – Том говорил с ней мягким, успокаивающим тоном. – Предположим, вы меня знаете, но я все равно ничем не могу вам помочь.

– Хамишь, приятель? Деревяшка ты гнилая [5 - Флора обыгрывает фамилию Тома. Wood (англ.) – дерево.]. Comprendo? [6 - Понял? (исп.)] Зови отца, кому говорю!

– Его сейчас нет, – Том резко изменил тактику.

– Так я тебе и поверила! Тюремная пташка живет наверху. За дурочку меня держишь?

Флора запустила пятерню в волосы, и брызги полетели на стопки новых книг, лежавших на столе рядом с прилавком. Зайдясь глубоким кашлем, она достала

из кармана рваного платья-балахона пачку «Мальборо» и, закурив, бросила на пол горящую спичку. Том постарался не показать своего изумления, загасил спичку подошвой ботинка и воздержался от замечания, что курить в лавке запрещено.

– Вы о ком говорите? – спросил он.

– О Гарри Дункеле, о ком еще.

– Дункель?

– В переводе с немецкого «темный», чтоб ты знал. Мой отец – темный человек из темного леса. А изображает из себя такого светлячка [7 - Брайтман – дословно – «светлый человек».]. Черного кобеля не отмоешь добела. Каким родился, таким и помрет.

Пугающие откровения

Три дня ушли у Гарри на то, чтобы уговорить Флору возобновить прерванное лечение, и целая неделя, чтобы заставить ее вернуться к матери в Чикаго. На следующий день после ее отъезда он пригласил Тома в ресторан «Майк энд Тони стейк-хаус» на Пятой авеню и там, впервые после своего освобождения из тюрьмы девять лет тому назад, облегчил душу, выложив Тому всю правду о своем прошлом, одновременно грубую и глупую историю исковерканной жизни, над которой он то смеялся, то плакал, а Том молча его слушал, отказываясь верить собственным ушам.

Начал он в Чикаго продавцом парфюмерии в галантерейном отделе. За два года добрался до помощника оформителя витрин и на том бы и застрял, если бы судьба удивительным образом не свела его с Бет Домбровски, младшей дочерью мультимиллионера Карла Домбровски, более известного как «Король пеленок». Свою художественную галерею Гарри открыл на средства Бет и тем самым приобрел совсем другой социальный статус и прочие радости жизни, но это вовсе не означает, что он на ней женился из-за денег или что он задурил ей голову. Нет, он ей сразу сказал начистоту про свои сексуальные наклонности, но

ее это не остановило, в ее глазах он остался самым желанным мужчиной на свете. Некрасивая, совершенно неопытная, в свои тридцать семь она рисковала стать пожизненным «синим чулком», Гарри был ее последним шансом как-то самоутвердиться в отцовском доме, перестать быть объектом всеобщего презрения, этакой курицей в глазах племянников и племянниц, чужой в собственной семье. По счастью, ей нужен был не столько сексуальный партнер, сколько верный друг, и она мечтала разделить свою жизнь с человеком, который добавит недостающего ей огня и уверенности в себе. Она была готова смотреть сквозь пальцы на его «заходы» и «загулы» ради сохранения семьи и во имя своей любви к нему.

До нее Гарри уже знавал женщин. В его беспорядочном послужном списке встречались имена обоего пола. Гарри радовался тому, что природа создала его именно таким, без тех предрассудков, что вынуждают мужчину избегать половины человечества. Беда в том, что до шестьдесят седьмого года, когда Бет сделала ему предложение, ему и в голову не приходила сама возможность постоянного домашнего гнезда, да еще свитого с его помощью. Он много раз влюблялся, но практически не знал ответной любви, и этот пыл, что на него вдруг обрушился, его просто ошеломил. Мало того, что Бет отдавала ему себя без остатка, при этом она еще предоставляла ему полную свободу.

Но не все было так гладко. Начать с ее семьи и прежде всего с ее диктатора-отца, который периодически грозился вычеркнуть дочь из своего завещания, если она не разведется «с этим мерзким пидором». Не проще, если не сложнее, обстояло дело с самой Бет. Не с человеком, не с душой, а исключительно с ее телом, чисто внешними проявлениями: этими маленькими прищуренными глазками, этими черными волосиками, обильно покрывавшими ее пухлые руки. Гарри, с его инстинктивным рафинированным культом прекрасного, никогда прежде не влюблялся в существо с неказистой внешностью. И все его колебания – жениться, не жениться – были связаны именно с непривлекательностью Бет. Но ее доброта и жертвенность в конце концов заставили его решиться. Гарри таки женился на ней, хотя и отдавал себе отчет в том, что первым делом должен будет сделать из Бет женщину, которая сможет, в определенных обстоятельствах и при правильном освещении, вызвать в нем проблеск физического желания. Отдельных улучшений он добился без особого труда. Очки уступили место контактным линзам; гардероб подвергся полной ревизии; болезненная эпиляция рук и ног сделалась рутинной процедурой. Но не все зависело от Гарри, определенные усилия его молодая жена должна была предпринять самостоятельно. И она предприняла. С дисциплинированностью и самопожертвованием сестры во Христе за первый год своего замужества она

сбросила тринадцать килограммов и сделалась вполне стройной. Новоявленный Пигмалион оценил целеустремленность своей Галатеи, которая буквально расцветала под его придирчивым взглядом, и их взаимное восхищение постепенно переросло в настоящую крепкую дружбу. И появление на свет Флоры в шестьдесят девятом не было результатом случайной близости. В начале их семейной жизни Гарри и Бет спали вместе так часто, что ее беременность была лишь вопросом времени. Ну кто бы мог предсказать такой поворот событий? Гарри потому и женился, что ему была обещана свобода, а кончилось тем, что у него практически пропало желание ею пользоваться.

Галерея открылась в феврале шестьдесят восьмого. Осуществилась давняя мечта тридцатичетырехлетнего Гарри, и он делал все, чтобы его начинание было успешным. Чикаго, конечно, не столица мира искусства, но и не захолустье, там крутятся немалые деньги, на то и мозги, чтобы часть этих денег осела в твоих карманах. После долгих размышлений он решил назвать галерею «Dunkel Fr?res»[8 - Братья Дункель (фр.).]. Никаких братьев у Гарри не было, но это название, как ему казалось, должно придать его затее этакий «старосветский» оттенок и намек на укоренившуюся семейную традицию торговли произведениями искусства. Неожиданное соединение немецкого с французским должно было сразу обратить на себя внимание, произвести в голове у потенциального покупателя такой приятный хаос. Кто-то в этом смешении языков увидит эльзасские корни. Другие решат, что он из немецко-еврейской семьи, эмигрировавшей во Францию. Третьи просто будут сбиты с толку. Словом, в его происхождении останется некая загадка, а тот, кто умеет создать вокруг себя атмосферу таинственности, заведомо выигрывает, имея дело с широкой публикой.

Он специализировался на произведениях молодых художников – в основном это были картины, но также и скульптуры, и инсталляции, и отчасти даже хэппенинги, столь популярные в конце шестидесятых. Галерея спонсировала поэтические чтения и музыкальные вечера. Поп-арт и оп-арт, минимализм и абстракция, беспредметная живопись и фотография, видеоарт и новый экспрессионизм – за несколько лет Гарри и его призрачный брат приютили под своей крышей все направления современного искусства. Чаще всего вернисажи проваливались, что в принципе неудивительно, куда более болезненно Гарри переживал «предательство» тех немногих настоящих художников, которых ему довелось открыть. Обнаружив талант, он с увлечением и подлинным размахом помогал ему развернуться, начинал коммерческую раскрутку, а после двух-трех выставок молодое дарование сбегало от него в Нью-Йорк. Чикаго – он и есть Чикаго. Талант нуждается в оперативном просторе, и Гарри это понимал.

Но Гарри везло. В семьдесят шестом в галерею вошел с пачкой слайдов тридцатидвухлетний художник по имени Алек Смит. Гарри в этот момент не было на месте. На следующее утро, получив от секретарши толстый конверт, он решил бегло проглядеть слайды на просвет через оконное стекло, без всякой надежды на удачу, заранее готовый возвратить их автору, и вдруг понял, что перед ним самородок. В работах Смита было всё – смелость, цветовая гамма, энергия, свет. Сквозь яростные, как ножом по горлу, мазки взвихривались тела, буквально вибрировавшие от брызжущих эмоций, то был человеческий крик столь глубокий, искренний и страстный, как будто в нем невероятным образом переплавились радость и отчаяние. Ничего подобного до сих пор Гарри видеть не приходилось, у него даже руки задрожали. Он сел, внимательно рассмотрел все сорок семь слайдов на портативном столике с подсветкой, тут же снял трубку и предложил автору персональную выставку.

В отличие от других птенцов гнезда Гарри, Смит вовсе не рвался в Нью-Йорк. За шесть лет столичной жизни он успел получить от ворот поворот во всех салонах и галереях и в Чикаго вернулся с сердцем, полным горечи и ожесточения, с душой, клокочущей от презрения к миру искусства, а также ко всем выжигам и продажным тварям, этот мир населяющим. Гарри называл его «злым гением». И то сказать, Смит отличался диковатым и воинственным норовом, но он был жеребец чистых кровей. Преданность для него была не пустым звуком, и, однажды оказавшись в коррале «Братьев Дункель», он не выказывал никакого желания вырваться на волю. Гарри спас его от забвения и потому остался его дилером навсегда.

Наконец-то Гарри открыл большой талант. Восемь долгих лет, исключительно благодаря Смиту, его галерея держалась на плаву. После успеха первой выставки (все семнадцать картин и тридцать один рисунок были раскуплены к концу второй недели) Смит с женой и маленьким сыном приобрели дом в мексиканском городе Оахасе и перебрались туда со всеми потрохами. С этого дня художник, раз и навсегда отказавшись ступить на американскую землю, игнорировал свои персональные выставки в Чикаго, не говоря уже о ретроспективах в музеях других городов, которые множились по мере того, как утверждалась его репутация. Чтобы повидаться с ним, Гарри вынужден был летать в Мексику – что он и делал обычно пару раз в году, – а так они поддерживали связь в письмах и по телефону. Владельца галереи «Братья Дункель» все это не слишком беспокоило. Смит был плодовит: то и дело почтальон доставлял деревянный ящик, доверху набитый картинами и рисунками, которые раскупались как горячие пирожки, и по весьма приличным

ценам. Этот идеальный союз просуществовал бы очень долго, если бы однажды, за три дня до своего сорокалетия, Смит, перебрав текилы, не прыгнул с крыши своего дома. Его жена утверждала, что это было просто ребячество с трагическим исходом; его любовница настаивала на самоубийстве. Так или иначе, Алек Смит погиб, и галерее Гарри Дункеля жить оставалось тоже недолго.

Тут на сцене появился некто Гордон Драйер, молодой художник. Гарри устроил ему выставку примерно за полгода до гибели Смита, и впечатлили галериста не столько работы (прямолинейные, умозрительные абстракции, не заинтересовавшие ни одного покупателя, ни одного критика), сколько сам тридцатилетний стройный Драйер с лицом херувима, белоснежно-мраморными руками и чувственным ртом, к которому Гарри захотелось прильнуть в первую же минуту знакомства. После шестнадцати лет семейной жизни Гарри не устоял – не перед какой-то там интрижкой на одну ночь, а перед пьянящей, манящей, испепеляющей страстью. Что касается честолюбивого Драйера, мечтавшего выставиться в галерее, то он позволил себя совратить этому коренастому пятидесятилетнему мужчине. А может, все было наоборот, и это он совратил Гарри. Все произошло в студии, куда тот пришел взглянуть на последние работы художника. Красавец мужчина с лицом юноши, сразу угадавший желания гостя, посреди пустого трепа о достоинствах геометрического минимализма словно невзначай опустился на колени и расстегнул Гарри ширинку.

Выставку Драйера публика встретила прохладно, а между тем манипуляции с ширинкой сделались регулярными. Драйер жаловался, что Гарри не уделяет его творчеству достаточно внимания, как другим своим подопечным, уж не потому ли, что ему, Драйеру, нечего предложить, только собственное тело? По уши влюбленный Гарри не понимал, что его используют, а если и понимал, это ничего не меняло. Безумному сердцу не прикажешь. Тщательно скрывая свой роман от Бет, он старался бывать дома пореже, тем более что их пятнадцатилетняя Флора уже начинала обнаруживать первые признаки развивающейся шизофрении. Дни он проводил с Гордоном, а вечерами входил в роль образцового мужа и отца. Известие о внезапной смерти Смита обрушилось на него как снег на голову, и он запаниковал. Конечно, еще оставался запас нераспроданных работ, но через год, а то и меньше он иссякнет, и что тогда? Галерея «Братья Дункель» оказалась на грани банкротства, а к Бет, уже выкинувшей немалые деньги на это предприятие, Гарри обратиться не мог. Без Смита, не сегодня, так завтра, галерея должна была пойти на дно. Правда заключалась в том, что Гарри так и не научился азам бизнеса. Всецело положившись на вздорного Смита, он рассчитывал и впредь сорить деньгами за

его счет (закатывать вечеринки на двести человек, летать на частных самолетах и ездить на машине с личным шофером, делать безрассудные ставки на третьеразрядных художников, отваливать стипендии «молодым талантам», чьи работы никто не покупал), да вот беда, остался вдруг без курицы, которая несла золотые яйца.

И тут Драйер выступил с планом спасения патрона. Он понял: на одном сексе далеко не уедешь, надо стать поистине незаменимым, тогда и с его карьерой будет все в порядке. При всем своем холодном интеллектуализме Драйер обладал природными талантами рисовальщика и колориста, которые он принес в жертву своей внутренней установке: главное в искусстве – строгость и точность. Он на дух не выносил Смита с его избыточным романтизмом, с его вычурностью и псевдогероикой, но это вовсе не значило, что при желании он не сумел бы сработать в чужеродном стиле. Так почему бы не продолжить дело Смита за самого Смита? Так сказать, последние полотна безвременно погибшего мастера. Выставить их публично, конечно, чересчур рискованно (рано или поздно это дойдет до вдовы Смита, и их блеф будет разоблачен), а вот сбывать по-тихому коллекционерам – это гарантированный доход, и Валери Смит ничего не узнает.

Поначалу Гарри проявил сдержанность. Он оценил блестящий ход, но были и опасения – его смущала не сама идея, а способность парня ее осуществить. Несовершенная подделка, неполноценный клон – и Гарри в тюряге. Драйер пожал плечами с таким видом, будто он сам к этой шальной мысли не отнесся всерьез, и перевел разговор на другую тему. А спустя пять дней, когда Гарри наведался в студию с привычным дневным визитом, художник сдернул покрывало с первого «оригинала» Алека Смита, и потрясенный дилер вынужден был признать, что он недооценил своего протеже. Драйер словно заново родился как двойник покойного: отказался от всего личного, чтобы стать вторым Смитом с его душой и мыслями. Это был настоящий театр, нечто сродни колдовству, перед которым Гарри испытал трепет и благоговение. Драйер не просто передал букву и дух смитовских полотен, воспроизвел один к одному его кинжальные мазки, насыщенный цвет и даже случайные «кляксы», он пошел дальше самого Смита, сделал за него следующий шаг, написал картину, которую тот написал бы сам двенадцатого января, если бы накануне не прыгнул с крыши дома.

За шесть месяцев Драйер написал еще двадцать семь живописных полотен, а также несколько десятков рисунков чернилами и углем, после чего Гарри

медленно, но верно, в кои-то веки демонстрируя железный характер, начал его притормаживать и между делом сбывать фальшаки коллекционерам по всему миру. Игра продолжалась больше года, за это время ушло двадцать картин, которые принесли подельникам два миллиона долларов. Поскольку Гарри больше подставлялся, рискуя своей репутацией, выручку решили поделить из расчета семьдесят к тридцати. Пятнадцатью годами позже, исповедуясь Тому за обедом в бруклинском ресторане, Гарри назвал эти месяцы одновременно самым радостным и самым тяжелым периодом. Он жил в постоянном страхе, но, несмотря на леденящую душу мысль, что рано или поздно его схватят за руку, он был, как никогда, счастлив. Если ему удавалось всучить поддельного Смита какой-нибудь акуле бизнеса из Японии или крупному застройщику из Аргентины – его измученное сердце каждый раз готово было от восторга выпрыгнуть из груди.

Весной восемьдесят шестого Валери Смит продала свой дом в Оахасе и вернулась в Штаты с тремя детьми. Несмотря на бурную, с рукоприкладством семейную жизнь и частые измены мужа, она всегда поддерживала его в творчестве и знала каждую работу, от самых ранних до последних, написанных незадолго до смерти в восемьдесят четвертом году. После первой публичной выставки в галерее «Братья Дункель» Смиты подружились с пластическим хирургом и завзятым коллекционером Эндрю Левиттом. Тогда, в семьдесят шестом, он купил двух «Смитов», а десятью годами позже, когда пригласил Валери на обед в свой особняк в Хайленд-парке, он уже был счастливым обладателем четырнадцати полотен. Поди угадай, что Валери вернется в Чикаго, где ее позовет в гости Левитт, которому он, Гарри, тремя месяцами ранее продал великолепного «Смита», разумеется, подделку! Разумеется, коллекционер с гордостью продемонстрировал гостье свое последнее приобретение, висевшее в гостиной на видном месте; и, разумеется, вдова с ее наметанным глазом тут же распознала фальшивку. Гарри ей никогда не нравился, но ради Алека она старалась держаться о нем лучшего мнения, тем более она отлично знала, что именно благодаря владельцу галереи «Братья Дункель» дела ее мужа пошли в гору. Но сейчас ее муж был в могиле, а Гарри спекулировал на его добром имени, и у взбешенной Валери Дентон Смит созрело одно желание – уничтожить подлеца.

Хотя Гарри все отрицал, семь подделок, обнаруженных при обыске в складском помещении при галерее, помогли полиции без особых проволочек завести на него дело. Он продолжал изображать из себя невинного агнца, но тут Гордон Драйер смылся, и после этого удара в спину Гарри пал духом. В приступе отчаяния и жалости к себе он раскололся и выложил своей Бет всю правду. Это

была еще одна ошибка в длинной цепочке ложных шагов и неправильных решений. Впервые за годы супружеской жизни он увидел жену в ярости. Она выдала ему пламенную тираду, в которой прозвучали такие слова, как «больной», «алчный», «мерзкий» и «извращенец». Немного охолонув, Бет перед ним извинилась, но отношения дали трещину, и, хотя она наняла лучших в городе адвокатов, Гарри понял, что это конец. Расследование длилось десять месяцев, улики медленно собирались в разных частях света, от Нью-Йорка и Сиэтла до Амстердама и Токио, от Лондона до Буэнос-Айреса, после чего окружной прокурор графства Кук предъявил ему обвинение в мошенничестве по тридцати девяти пунктам. Первые полосы газет запестрели крупными заголовками. Если его вина была бы доказана в суде, Гарри ждал бы тюремный срок от десяти до пятнадцати лет. По совету адвоката он признал себя виновным, а чтобы еще скостили срок, заявил, что идея подлога принадлежала Гордону Драйеру, который склонил его, Гарри, к пособничеству, пригрозив иначе обнародовать их тайную связь. За сотрудничество со следствием Гарри получил минимальный срок – пять лет – с перспективой выйти на свободу раньше в случае образцового поведения. Детективы выследили Драйера в Нью-Йорке и арестовали во время новогодней вечеринки в салуне на Кристофер-стрит, когда часы только начали отсчитывать 1988 год. Драйер тоже признал себя виновным, но, так как он никого не мог сдать и ему нечего было предложить следствию, бывший любовник Гарри получил семь лет.

Но худшее было впереди. Незадолго до посадки старик Домбровски все-таки заставил дочь подать на развод. Он прибег к испытанной тактике запугивания – дескать, вычеркнет ее из завещания, прекратит давать деньги на расходы, – но на этот раз он не шутил. Бет уже не любила Гарри, но и уходить от него не собиралась. Несмотря на публичный скандал и довольно жалкое положение, в которое он сам себя поставил, ей и в голову не приходило положить конец их браку. Все упиралось в дочь. Накануне своего девятнадцатилетия Флора уже успела дважды отметиться в частных клиниках для людей с психическими расстройствами, и ее шансы на излечение представлялись близкими к нулю, при этом больничный уход на таком уровне стоил сумасшедших денег, порядка ста тысяч за курс лечения. Если бы не ежемесячный чек от отца, Бет не оставалось бы ничего другого, как только поместить дочь в обычное заведение для душевнобольных, к чему она внутренне совершенно не была готова. Гарри понимал ее дилемму, но ничего не мог ей предложить, и потому скрепя сердце благословил жену на развод, поклявшись по выходе из тюрьмы задушить ее папашу.

В результате он остался нищим зэком без всяких видов на будущее. Отсидев свое в тюрьме Джолиет, он будет выброшен на ветер, как горсть конфетти. Странным образом именно презираемый им тесть протянет ему руку помощи, но при этом заломит такую страшную цену, что, приняв от старика помощь, Гарри уже не сможет оправиться от стыда и отвращения к самому себе. И все же он пошел на это. Он был слишком слаб, слишком растерян перед завтрашним днем, чтобы сказать «нет», но в тот момент, когда ставил под контрактом свою подпись, он понимал, что продает душу дьяволу и за это будет проклят вовеки.

К тому времени он провел за решеткой почти два года. Условия Домбровски были просты как апельсин. За приличное вознаграждение Гарри завязывает с предыдущей карьерой, переезжает в другой город и дает подписку, что его нога никогда не ступит в Чикаго и что он не будет предпринимать никаких попыток увидеться с Бет или Флорой. Старик Домбровски считал Гарри моральным уродом, неким низшим подвидом существ, не дотягивающих до статуса человека, и персонально ответственным за душевную болезнь его внучки. Сумасшествие Флоры он объяснял тем, что в лоно Бет попало зловредное, мутированное семя выродка, который к тому же оказался мошенником и уголовником. Если по выходе из тюрьмы он не откажется от отцовства, то будет обречен на нищету. И Гарри отказался. Он уступил наглому шантажу, и эта капитуляция открыла ему путь к новой жизни. Он выбрал Бруклин, потому что это Нью-Йорк и при этом как бы не Нью-Йорк, так что шансы столкнуться с кем-то из бывших коллег в мире искусства были невелики. На Седьмой авеню, в районе Парк Слоуп, продавалась букинистическая лавка, и, хотя Гарри ничего не смыслил в книжном деле, ему понравился интерьер, весь этот антикварный дух и симпатичные безделицы. Старик Домбровски купил для него все здание о четырех этажах, и в июне 1991 года миру явился «Чердак Брайтмана».

По словам Тома, Гарри закончил свой рассказ последним днем перед посадкой, который он провел с дочерью, и, вспоминая об этом, с трудом сдерживал слезы. Флора была на грани очередного нервного срыва, который вскоре снова приведет ее в клинику, но мозг ее был еще не настолько затуманен, чтобы не узнавать собственного отца, и говорила она вполне членораздельно. Где-то она услышала статистику о том, сколько людей на земле рождается и умирает каждую секунду. Цифры были угрожающие. Флора, которой всегда давалась математика, быстро перевела всё на «десятки»: десять рождений каждые сорок секунд, десять смертей каждые сорок восемь секунд (я беру цифры с потолка). Вот это – настоящая правда, сказала Флора отцу за завтраком. И, чтобы до конца ее прочувствовать, она уселась в кресло-качалку у себя в комнате и каждые

сорок секунд выкрикивала «ура», приветствуя десять новорожденных, а каждые сорок восемь секунд выкрикивала «увы», скорбя по десяти ушедшим.

Сердце Гарри разбивалось не однажды, и вот теперь оно превратилось в горстку пепла, заполнившую дыру в груди. В свой последний день на воле он просидел двенадцать часов на кровати дочери, которая безостановочно раскачивалась в кресле-качалке, пристально следя за движением минутной стрелки на часах, стоявших на прикроватной тумбочке, и в ключевой момент выкрикивая соответствующие слова. «Ура! – кричала она. – Ликуйте! Нас стало на десять человек больше! Еще недавно их не было, а сейчас они есть! Ура!» А затем, вцепившись в подлокотники кресла и раскачиваясь все быстрее, как будто непосредственно обращаясь к отцу, выплескивала из себя: «Увы! Нас стало на десять человек меньше! Плачьте о тех, кто нас покинул! О тех, кто отправился в неизвестность! Скорбите о хороших и плохих! О старых, которых оставили силы, и молодых, умерших во цвете лет! Смерть забрала их в иной мир! Увы!»

О жуликах

До моей случайной встречи с Томом «на Чердаке» я разговаривал с Гарри Брайтманом раза два-три, не больше, да и то между делом, накоротке, когда мы обменивались ничего не значащими фразами. Узнав от Тома историю жизни его патрона, мне захотелось познакомиться с крупным мошенником поближе и понаблюдать за ним вблизи. Том был рад представить нас друг другу, и, когда наш затянувшийся обед в «Космосе» закончился, я увязался за своим племянником, чтобы поскорей удовлетворить свое любопытство. Я уплатил по счету в кассе при выходе, затем вернулся и оставил на столе двадцать долларов «на чай» для Марины – немыслимая сумма, почти вдвое превышающая стоимость нашего обеда, но все это не имело значения. Меня переполняла благодарность, и счастье, которое она излучала, так меня воодушевило, что я решил сегодня же позвонить Рэйчел и сообщить ей, что ее давно исчезнувший кузен нашелся. Со дня ее неудачного апрельского визита, когда мы только и делали, что выясняли отношения, я находился в ее «черном списке», но в ту минуту, после радостной встречи с Томом и после того как Марина Гонсалес с улыбкой послала мне вдогонку воздушный поцелуй, мне захотелось внести гармонию в этот не самый лучший из миров. Один раз я уже позвонил дочери, чтобы принести извинения за то, что был с нею резок, но тогда она, не дослушав до конца, повесила трубку. На этот раз я буду перед ней пластаться до полного примирения.

Двигаясь по майскому солнышку вдоль Седьмой авеню в сторону книжной лавки, пять кварталов пешком, мы продолжали говорить о Гарри, самозваном Дункеле, который бежал из темной чащи своего бывшего «я», чтобы ярко засветить на обманном небосклоне.

– Я всегда питал слабость к жуликам, – сказал я. – Вероятно, они не самые надежные друзья, но без них жизнь была бы скучнее.

– Не уверен, что нынешнего Гарри можно назвать жуликом, – возразил Том. – Он полон раскаяния.

– Кто жуликом родился, тот жуликом помрет. Люди не меняются.

– Это как посмотреть.

– Ты не крутился в страховом бизнесе, мой мальчик. Тяга к обману универсальна, и тот, кто почувствовал к нему вкус, уже неизлечим. Легкие деньги – нет на свете большего искушения. Вспомни всяких умников с их инсценированными дорожными авариями и придуманными увечьями, вспомни торговцев, спаливших собственные магазины и склады, вспомни артистов, разыгравших свою гибель. Я наблюдал все это на протяжении тридцати лет с неослабевающим интересом. Великий спектакль на тему человеческой изворотливости. Он разыгрывается повсюду, куда ни глянь, и интереснее зрелища на свете нет, нравится оно нам или не нравится.

Том то ли хмыкнул, то ли прыснул:

– Ну ты и загнул, Натан. Давненько я этого не слышал. Высший класс.

– По-твоему, я шучу. Ничего подобного. Это перлы мудрости, мой мальчик. С тобой говорит человек, съевший не один пуд соли. Всем заправляют ловкачи и пройдохи. Жулики правят миром. Сказать почему?

– Я весь внимание, Учитель.

– Потому что они более голодные. Потому что они знают, чего хотят. Потому что они верят в жизнь, в отличие от нас.

– Не обобщай, Сократ. Не будь я постоянно голодным, не было бы у меня сейчас такого брюха.

– Ты любишь жизнь, Том, но ты в нее не веришь. Как и я.

– На этом месте еще раз и помедленнее.

– История Иакова и Исава. Помнишь?

– А, ты вот о чем. Теперь понятно.

– Обескураживающая история, ты не находишь?

– Да уж. В детстве она меня просто ставила в тупик. Я был мальчик правильный, высокоморальный. Не врал, не крал, не хитрил, не говорил никому обидных слов. И вот я читаю про Исава, жизнерадостного простака вроде меня. Кто как не он должен был получить отцовское благословение. Но хитрец Иаков обводит его вокруг пальца, да еще с помощью матери!

– Хуже того, с молчаливого одобрения Всевышнего. Бесчестный, лукавый Иаков позже становится вождем еврейского народа, а Исав, ничтожество, остается не у дел, всеми забытый.

– Моя мать всегда учила меня добру. «Бог хочет, чтобы ты вырос хорошим человеком», – повторяла она. И я, по малолетству веривший в бога, верил в справедливость этих слов. А потом я прочел в Библии этот рассказ и пришел в полное недоумение. Плохой человек побеждает, и господь его не наказывает! Мне это показалось неправильным. Собственно, и сейчас так кажется.

– Нет, все правильно. В Иакове горела живая искра, а Исав был олух. Добросердечный олух. Если уж выбирать из них двоих вождя народа, предпочтение следует отдать бойцу, обладающему умом и хитростью, человеку, сильному духом, способному преодолеть все трудности и выйти победителем. Выбор делается в пользу сильного и умного, а не слабого и доброго.

– Что ты такое говоришь, Натан. Если развить твою мысль, получится, что Сталина надо возвести на пьедестал как великого человека.

– Сталин был преступником и убийцей-параноиком. Я же, Том, говорю об инстинкте выживания, о воле к жизни. Если ты предложишь мне выбор между продувной бестией и набожным простачком, я, не задумываясь, покажу на первого. Пусть он не всегда играет по правилам, зато в нем есть неистребимый дух. А пока в ком-то еще живет этот дух, наш мир не безнадежен.

Во плоти

В квартале от букинистической лавки меня вдруг осенило: появление Флоры в Бруклине означало, что Гарри не прервал отношений со своей бывшей женой и дочерью, то есть нарушил условия контракта со стариком Домбровски. Но если так, то почему тот не отобрал четырехэтажный дом на Седьмой авеню? Насколько я понял, это было достаточным основанием, чтобы отнять «Чердак Брайтмана» и вышвырнуть Гарри на улицу.

– Может, я что-то упустил? – спросил я Тома. – Или ты забыл рассказать мне какую-то важную деталь?

– Нет, – был мне ответ. – Контракт перестал действовать по одной простой причине – Домбровски умер.

– Умер или Гарри его убил?

– Очень смешно.

– Не от тебя ли я об этом услышал? По выходе из тюрьмы Гарри, сказал ты, поклялся убить старика Домбровски.

– Мало ли что мы говорим, не вкладывая в свои слова буквального смысла. Три года назад старик Домбровски сыграл в ящик в возрасте девяноста одного года, и умер он от удара.

– Если верить Гарри.

Том засмеялся, но чувствовалось, что мои саркастические шуточки начинают его нервировать.

– Будет тебе, Натан. Да, если верить Гарри. Все, что я рассказал, это со слов Гарри. Сам знаешь.

– Том, пусть тебя не мучают угрызения совести. Я тебя не выдам.

– То есть? В каком смысле?

– Ты, вероятно, пожалел, что посвятил меня в личную жизнь своего шефа. Он рассказал тебе разные подробности по секрету, а ты вроде как злоупотребил его доверием. Не волнуйся, дружище. Может, я порой веду себя глупо, но я умею держать язык за зубами. Ты меня понял? Я ничего не слышал про Гарри Дункеля. Человека, которому я собираюсь пожать руку, зовут Гарри Брайтман.

Мы застали его в офисе на втором этаже, за столом красного дерева. Он разговаривал по телефону. На нем был, как сейчас вижу, пурпурный велюровый пиджак с торчащим из левого нагрудного кармана пестрым платочком, похожим на распустившийся тропический цветок, сразу бросавшийся в глаза на серо-коричневом фоне заставленной книгами комнаты. Другие детали костюма мне не запомнились, наверно, потому, что я не столько разглядывал его одежду, сколько его самого – широкое скуластое лицо, круглые навыкате голубые глаза, крупные редкие зубы-лопатки, вызывавшие в памяти хеллоуинский фонарь из тыквы со щербатым ртом. Он и был таким человеком-тыквой, но щеголеватой тыквой с безволосыми руками и пальцами, и только его звучный, гладкий баритон снижал явную нарочитость этого попугайского образа.

Гарри приветственно помахал Тому и поднял вверх указательный палец, как бы с просьбой подождать минутку. Он больше слушал, чем говорил, но речь, кажется, шла о продаже какого-то издания девятнадцатого века то ли клиенту, то ли дилеру, причем название ни разу не было упомянуто. Чтобы как-то себя занять, я прошелся вдоль стеллажей, на которых в образцовом порядке стояло, по моим грубым подсчетам, семь-восемь сотен томов, от старых авторов (Диккенс, Теккерей) до сравнительно современных (Фолкнер, Гаддис). Первые могли похвастаться кожаными переплетами, тогда как вторые, поверх суперов, были обернуты защитным целлофаном. В сравнении с хаосом нижнего этажа это было райское место, где царили покой и порядок. Общая стоимость всей

коллекции наверняка измерялась цифрами с пятью нулями. Для человека, у которого лет семь назад не было своего ночного горшка, бывший мистер Дункель совсем неплохо устроился, даже очень неплохо.

Когда телефонный разговор закончился, Том меня представил. Гарри Брайтман встал со стула и дружески пожал мне руку, скаля свои хеллоуинские зубы в улыбке, образец хороших манер.

– А, знаменитый дядя Нат, – произнес он. – Том про вас рассказывал.

– Просто Натан. Пару часов назад мы покончили с «дядей».

– «Просто Натан», – повторил Гарри, сдвинув брови с преувеличенной озабоченностью, – или «Натан»? Вы меня запутали.

– Натан. Натан Гласс.

Гарри прижал палец к подбородку, приняв позу глубоко задумавшегося человека.

– Как интересно. Том Вуд и Натан Гласс. Если я сменю фамилию на Стил, мы могли бы открыть архитектурную фирму «Вуд, Гласс и Стил» [9 - Дерево, стекло и сталь (англ.).]. Ха, ха. «Вуд, Гласс и Стил». Как вы на это посмотрите?

– Или мне сменить имя на Дик, – предложил я. – Было бы «Том, Дик и Гарри».

– Дик? В приличном обществе? – Гарри сделал такое лицо, будто я его шокировал. – Следует говорить «мужской орган». В крайнем случае можно употребить нейтральное «пенис». Но только не «dick». Это вульгаризм.

– С таким боссом не соскучишься, – сказал я, обращаясь к Тому.

– Это уж точно, – отозвался мой племянник. – Никогда не знаешь, чего от него ждать.

Гарри ухмыльнулся и с нежностью поглядел на Тома.

– Да, да. Книжный бизнес – веселый бизнес. Иногда мы с ним смеемся до колик. А вы, Натан, по какому ведомству? Ах, да, Том мне говорил. Вы страховой агент.

– Экс страховой агент. Я рано вышел на пенсию.

– Еще один экс, – скорбно вздохнул Гарри. – В нашем возрасте, Натан, мы успеваем несколько раз стать эксами. N’est-ce pas? [10 - Не так ли? (фр.)] В моем случае – все десять. Экс-муж. Экс-арт-дилер. Экс-моряк. Экс-оформитель витрин. Экс-продавец парфюма. Экс-миллионер. Экс-буффаловец. Экс-чикаговец. Экс-зэк. Да, вы не ослышались. Экс-зэк. У меня были падения, а у кого их не было, и я не стыжусь в этом признаться. Том хорошо осведомлен о моем прошлом, а если знает Том, то почему бы не знать и вам? Он для меня как член семьи, а стало быть, и вы, бывший дядя Нат или просто Натан. Я заплатил обществу по долгам, так что моя совесть спокойна. Экс, мой друг, – это клеймо на всю жизнь.

Признаться, не думал, что Гарри вот так, душа нараспашку, признается в своих грехах. Хоть я заранее знал, что от этого противоречивого и неожиданного персонажа можно ждать чего угодно, меня ошарашило, когда посреди непринужденного разговора с шуточками и подколками он вдруг распахнул душу перед совершенно посторонним человеком. Возможно, подумал я, первое признание сыграло свою роль. После того как он один раз нашел в себе смелость, так сказать, выпустить кота из мешка, вероятно, сделать это вторично было уже проще. Так ли, я не знаю, но никакое другое объяснение мне в голову не приходило. Хотелось бы над этим подольше поразмышлять, но ситуация не располагала. Разговор развивался стремительно, сопровождаемый все теми же дурацкими репликами, сомнительными остротами, пустословием и лицедейством. В целом, сознаюсь, мой тыквообразный собеседник с темным прошлым произвел на меня впечатление. Общение с ним несколько утомляло, но скучным я бы его не назвал. Покидая лавку, я пригласил Тома и Гарри на субботний обед.

Домой я вернулся в начале пятого. Рэйчел по-прежнему не выходила у меня из головы, но звонить ей было еще рано (с работы она приходила около шести), и, когда я представил, как подношу к уху трубку и набираю ее номер, у меня сразу пропало всякое желание звонить. Наши разногласия так далеко зашли, что, услышав мой голос, она запросто могла снова повесить трубку, а нарваться на такой прием мне ох как не хотелось. Тогда я решил отправить ей письмо. Так оно безопаснее. Если не писать на конверте обратного адреса, есть надежда, что она все-таки прочтет письмо, вместо того чтобы сразу порвать и выбросить

в корзину.

Задача казалась мне достаточно легкой, однако лишь с шестого или седьмого захода мне удалось нащупать верный тон. Попросить у кого-то прощения – это целое дело, тут приходится балансировать между высокомерной гордыней и полным слез раскаянием, и, если по-настоящему не открыть свое сердце, любое извинение прозвучит формально и фальшиво. Марая черновик за черновиком (при этом я все больше впадал в уныние, казнился тем, что сделал со своей несчастной жизнью, бичевал себя, грешного, не хуже какого-нибудь средневекового монаха), я внезапно вспомнил про книгу, которую Том прислал мне на день рождения лет восемь назад, в то золотое времечко, когда Джун еще была жива и мой племянник еще был нашим блестящим, многообещающим Профессором. Это была биография философа Людвига Витгенштейна. Я о нем слышал, но не более того – оно и понятно, круг моего чтения составляла, главным образом, беллетристика с вкраплениями всего остального. Книга оказалась познавательной и хорошо написанной, но одна история особенно запала мне в душу. Согласно автору, Рэю Монку, после того как Витгенштейн написал свой «Трактат», будучи солдатом во время Первой мировой войны, он посчитал, что все вопросы философии им благополучно разрешены и к этой дисциплине можно больше не возвращаться. После войны он устроился школьным учителем в отдаленном австрийском городке в горах, но быстро потерпел крах. Суровый, вспыльчивый, даже жестокий, он постоянно распекал детей и поколачивал их, если они не выучивали уроки. Не просто шлепал по одному месту, а в сердцах бил по голове и по лицу, так что у них потом оставались синяки и ушибы. Его возмутительное поведение получило огласку, и Витгенштейну пришлось подать в отставку. Прошли годы, лет двадцать, если не ошибаюсь, Витгенштейн к тому времени жил в Кембридже, пользуясь всеобщим уважением и пребывая в статусе знаменитого философа. Уж не помню, по какой причине он пережил духовный кризис, сопровождавшийся нервным срывом. Почувствовав себя лучше, он решил, что единственный для него путь к выздоровлению – это вернуться в прошлое и смиренно попросить прощения у всех, кого он оскорбил или унизил. Он желал очиститься от скверны и с неотягощенной совестью начать все сначала. Так он снова очутился в австрийском городке в горах. Его бывшим ученикам было уже под тридцать, но память о жестоком обращении учителя с годами не померкла. Витгенштейн обходил дом за домом и просил прощения за свои хамские выходки. Иногда он становился на колени с мольбой об отпущении грехов. Возможно, кто-то подумал, что при виде чистосердечного раскаяния люди должны были смягчиться и простить несчастного, но ни один из его учеников не горел таким желанием. Слишком глубоко въелась причиненная им боль, слишком велика

была ненависть, чтобы проявить милосердие.

Возвращаясь к Рэйчел, я был почти уверен, что в данном случае никакой ненависти ко мне нет. Да, есть досада, раздражение, обиды, но нет той враждебности, из-за которой в отношениях возникает непреодолимая трещина. И все же права на ошибку у меня не было, и к тому моменту, когда последний вариант письма принял окончательный вид, мое покаяние достигло пика. «Прости своего глупого отца за то, что он распустил язык, – начал я, – и произнес слова, о которых он сейчас горько сожалеет. Нет на свете человека, который бы столько для меня значил. Ты мое золотко, моя кровиночка, и мне больно думать, что какие-то дурацкие мои фразы могли вызвать отчуждение между нами. Без тебя я никто и ничто. Моя дорогая, любимая девочка, пожалуйста, дай шанс твоему глупому отцу исправиться».

Я написал в том же духе несколько абзацев и закончил радостной новостью: ее кузен Том неожиданно обнаружился в Бруклине и будет рад повидать ее и познакомиться с ее английским мужем Терренсом. Отчего бы нам всем не пообедать вместе, не откладывая в долгий ящик. В любой день, когда она свободна.

Я потратил на писанину три часа, и это письмо меня опустошило, физически и морально. Чтобы оно поскорей ушло по назначению, я дошел до почты на Седьмой авеню и там бросил его в ящик. Подошло время обеда, но есть мне не хотелось. Вместо этого я прошел пешочком до винного магазина и купил виски и две бутылки красного. Не скажу, что я поддаю, но в жизни каждого мужчины бывают минуты, когда алкоголь важнее еды. Это был тот самый случай. Встреча с Томом окрылила меня, но стоило мне вернуться в свою холостяцкую квартиру, как меня буквально пронзила мысль: я превратился в одинокого волка, жалкого, бесцельно блуждающего, никому не нужного. Вообще-то приступы жалости к самому себе для меня не характерны, но тут я оплакивал свою жизнь, что твой подросток с тремя извилинами. После двух стаканов скотча и полбутылки вина мрак начал рассеиваться, я даже сел за письменный стол и кое-что добавил в свою «Книгу глупостей», анекдотическую историю про электробритву и унитаз. Случилось это в День благодарения, за полчаса до прихода гостей. Совсем недавно мы с Эдит, вбухав немалые деньги, полностью переделали ванную на втором этаже, где все теперь сияло: кафель, шкафчики, раковина, ванна, унитаз, каждая мелочь. В этот момент я завязывал галстук перед зеркалом, а Эдит сшивала ниткой жирную индюшку. Шестнадцатилетняя Рэйчел, до последней минуты писавшая лабораторную работу по физике, уединилась в ванной, чтобы

наскоро привести себя в порядок. Приняв душ, она вооружилась «шиковской» электробритвой и поставила ногу на край унитаза. Вы уже догадались, что через секунду бритва плюхнулась в воду. Рэйчел попыталась ее достать, но не тут-то было: та крепко застряла в сливном отверстии. Тогда Рэйчел открыла дверь и позвала: «Папа (тогда я еще был «папой»), мне нужна твоя помощь!»

Папа пришел. В этой ситуации меня больше всего впечатлил жужжащий моторчик, который как ни в чем не бывало взбивал вокруг себя пену. Этот неумолкающий мерзкий звук служил фантастическим аккомпанементом к и без того невероятному происшествию. Все это было дико до смешного. Я не удержался от смеха, и, когда Рэйчел поняла, что я не над ней смеюсь, она составила мне компанию. Если бы мне надо было выбрать один-единственный миг из всех, какие я пережил вместе с дочерью за двадцать девять лет ее жизни, я бы, пожалуй, выбрал именно этот.

Если Рэйчел своими тонкими пальчиками не смогла выцарапать эту чертову бритву, мне там делать было нечего, и все же я решил попробовать, скорее для проформы. Я снял пиджак, закатал рукав повыше, закинул галстук за спину и сунул руку в толчок. Зудящая машинка застряла намертво, без шансов.

Гибкий трос, каким прочищают засор водопроводчики, был бы, наверно, нелишним, но такового у меня под рукой не было, тогда я взял вешалку, разогнул металлический крючок и попробовал поддеть им адскую машину. Нет, крючок оказался слишком толстым.

Тут зазвонил дверной звонок, пришли первые гости. Рэйчел в махровом халате, сидя на полу, наблюдала за моей бесцельной возней, и я посоветовал ей пойти переодеться. «А я пока отсоединю унитаз, – бодро сказал я, – и попробую протолкнуть эту фиговину с другой стороны». Рэйчел с улыбкой похлопала меня по плечу, как человека, слегка повредившегося в уме, и направилась к выходу. «Передай маме, что я спущусь через несколько минут, – бросил я ей вдогонку. – Если она спросит, чем я здесь занимаюсь, скажи, неважно. А если будет настаивать, скажи, что отец ведет отчаянную борьбу за мир».

В чулане при спальне я достал из ящичка с инструментами пассатижи, перекрыл воду, отвинтил стульчак. Поднять-то я эту махину поднял, но, боясь уронить в этой тесноте, решил вынести ее на задний двор.

С каждым шагом стульчак делался тяжелее и тяжелее. Я кое-как спустился с лестницы, и к тому моменту мне казалось, что я несу на руках если не слона, то маленького белого слоненка. На мое счастье, в дом как раз вошел один из братьев Эдит и вовремя подставил руки.

– Натан, что происходит?

– Помоги мне с этой дурой.

Гости, пришедшие праздновать День благодарения, с изумлением взирали на двух мужчин в белоснежных рубашках и галстуках, с жужжащим унитазом, который они осторожно тащили на задний двор. В воздухе витали ароматы индейки. Эдит подавала напитки. Фрэнк Синатра пел, если не ошибаюсь, «Я сделаю по-своему». А моя любимая, уже зацикленная на себе дочь испуганно смотрела мне вслед, отлично понимая, что испортила праздник, в который ее мать вложила столько сил.

Мы положили «слона» на жухлую осеннюю траву и перевернули раструбом вниз. Уже не вспомню, сколько разных инструментов я перепробовал, и все без толку. Черенок грабель, большая отвертка, шило, молоток – ничего не помогало. А моторчик продолжал зудеть на высокой ноте, как ошалелый комар. Нас обступили любопытные гости, но голод, холод и скука брали свое, и они один за другим ретировались в дом. Только не упрямец Натан Гласс, настроенный довести дело до конца. Когда я, в конце концов, осознал тщетность своих усилий, я взял кувалду и раздербанил это фаянсовое чудо к такой-то матери. Неистребимая электробритва упала в траву. Я выключил жужжалку и сунул в карман, чтобы через несколько минут вернуть ее своей смущенной дочери. Насколько мне известно, этот психопат-агрегат работает по сей день.

Записав эту историю, я бросил листки в коробку с пометкой «Опрометчивые действия», прикончил бутылку вина и забрался в постель. Если уж говорить всю правду (а иначе как мне написать эту книгу?), чтобы уснуть, пришлось сначала заняться рукоблудием. Я себе представил Марину Гонсалес обнаженной. Она вошла в комнату и, юркнув под одеяло, с нетерпением прижалась ко мне своим гладким теплым телом.

Сюрприз, связанный с банком спермы

Между прочим, тему мастурбации мы с Томом затронули на следующий день за ланчем в японском ресторанчике (в тот день Марина была выходная). Я начал с вопроса, были ли у него какие-то контакты со своей сестрой. Насколько я знал, последний раз ее видели незадолго до смерти Джун, когда она ненадолго заехала домой, чтобы забрать малышку Люси, и было это в девяносто втором, почти восемь лет назад. Поскольку накануне Том о ней ни словом не обмолвился, я решил, что моя племянница исчезла с концами, и больше о ней ничего не было слышно.

Оказалось, нет. В конце девяносто третьего Том и его друзья-студенты нашли способ, как срубить бабки. В пригороде Энн Арбора была клиника искусственного оплодотворения, и ребята подумали, отчего бы им не пополнить банк спермы. Сказано – сделано. По словам Тома, о последствиях никто не думал: их семя получат женщины, которых они никогда не увидят, никогда не обнимут и которые родят от них детей, чьи имена и судьбы навсегда останутся для них неизвестными.

Всех их проводили в отдельные комнаты и, чтобы настроить на нужную волну, снабдили порножурналами – обнаженные девушки в соблазнительных позах. Природа мужского зверя такова, что на подобные картинки он безотказно делает стойку. Том, серьезный во всех начинаниях, уселся на койку и принялся добросовестно листать журналы. Не прошло и двух минут, как он спустил брюки и трусы и, продолжая переворачивать страницы левой рукой, взял в правую напрягшегося парня. До результата оставалось ждать недолго. И тут в журнальчике под названием «Полночная синь» он увидел собственную сестру. Сомневаться не приходилось, это была Аврора. Она даже не удосужилась взять псевдоним. Серия из дюжины фотографий на шести страницах, озаглавленная «Рори Великолепная», демонстрировала ее в разной степени раздетости и провокации: сначала в прозрачной комбинации, в поясе и черных чулках, в высоких сапогах из тонкой кожи; потом в костюме Евы, ласкающей свои маленькие грудки, трогающей себя между ног, выпячивающей зад, раскидывающей ноги так, чтобы уже ничего не оставалось для воображения, – улыбается, хохочет, с горящими глазами, в которых читаются отвага и восторг, ни тени сомнений или озабоченности, наслаждение жизнью во всей ее полноте.

– Меня это убило, – признался мне Том. – От моей эрекции остались одни воспоминания. Я натянул брюки и бежал оттуда без оглядки. Ну что тебе сказать, Натан, я чувствовал себя раздавленным. Моя младшая сестренка позирует в порнушном журнальчике! И где я про это узнаю? В клинике по сбору спермы, за мастурбацией! Меня чуть не вывернуло наизнанку. После двух лет неизвестности эти фотографии Рори подтвердили мои худшие опасения, впрочем, нет, в самом страшном сне я не мог себе представить такого. В двадцать два года моя сестра упала ниже некуда: торговать своим телом… Я так расстроился, хоть плачь.

Когда ты прожил такую жизнь, как я, начинаешь думать, что уже все на свете повидал и ничто не способно тебя удивить. С некоторым самодовольством считаешь себя человеком искушенным, но вдруг случается нечто такое, что вытряхивает тебя из уютного кокона превосходства, в очередной раз напоминая о том, что ты ровным счетом ничего в этой жизни не понимаешь. Бедная моя племянница. Генетическая лотерея улыбнулась ей, выдав набор счастливых номеров. В отличие от Тома, унаследовавшего свою комплекцию от Вудов, высокая и стройная Аврора пошла в Глассов. Она была копией своей матери – длинноногая, темноволосая красавица, такая же легкая и гибкая. Прямая аналогия из «Войны и мира»: хрупкая Наташа и ее крупный и неуклюжий брат Пьер [11 - Так у автора. Наташа Ростова и Пьер Безухов – супружеская пара.]. Само собой, все хотят быть красивыми, но женская красота может стать проклятьем, особенно в случае с молоденькой девушкой вроде Авроры – мать-одиночка, недоучка, бунтарка, жаждущая «показать нос» всему миру и готовая ввязаться в любую авантюру. Если в карманах пусто, а красота – твой главный козырь, отчего бы не раздеться перед камерой для глянцевого журнала? Если ты способна удержать ситуацию под контролем, твоя жизнь может перевернуться: вчера не было куска хлеба, а сегодня стол ломится от еды.

– Может, она сделала это всего-то один раз, – постарался я утешить Тома. – Представь, ей нечем заплатить за квартиру, и тут на пороге возникает фотограф и предлагает ей работу. Одна фотосессия, приличные деньги.

Том покачал головой, и по его мрачному лицу тут же стало понятно, что я принимаю желаемое за действительное. Хоть и не зная всех фактов, Том не сомневался, что скверная история не началась этой фотосессией и ею не закончилась. Аврора танцевала топлес в «Саду земных наслаждений», стрип-баре в Квинсе, куда Том привез пьяных бизнесменов в день своего тридцатилетия, снялась в десятке с лишним порнофильмов и шесть или семь раз

фотографировалась ню для различных журналов. Ее карьера в секс-бизнесе длилась добрых полтора года и, с учетом хороших денежек, продолжалась бы и дальше, если бы не случай, произошедший с ней спустя два с лишним месяца после того, как Том наткнулся на ее фотографии в «Полуночной сини».

– Надеюсь, никакого криминала, – поспешил заметить я.

– Еще какой, – отозвался Том, и на глаза у него навернулись слезы. – На съемочной площадке она подверглась групповому изнасилованию, в котором участвовали режиссер, оператор и половина съемочной группы.

– О господи.

– Натан, ты себе не представляешь, что? они с ней сделали. Она оказалась в больнице с сильным кровотечением.

– Я бы убил этих ублюдков.

– Я тоже. По крайней мере засадил за решетку. Но она отказалась подавать на них в суд. Ее единственным желанием было поскорей убраться из Нью-Йорка. Тут-то я всё и узнал. Рори написала мне на английское отделение, и, поняв, в какую передрягу она попала, я тут же ей позвонил и сказал, чтобы она с Люси приезжала ко мне в Мичиган. Рори хорошая. Ты это знаешь. Я это знаю. Все, кто хоть немного с ней знаком, это знают. В ней нет червоточины. Малость необузданная, да, упрямая, да, но абсолютно невинная и доверчивая, без грана цинизма. В каком-то смысле то, что работа в порноиндустрии ее не смущала, говорит в ее пользу. Ей это казалось забавным. Хороша забава, да? Не понимать, что в этой сфере полно скользких типов и откровенных подонков!

Таким образом Аврора и трехлетняя Люси перебрались на Средний Запад и воцарились на верхнем этаже дома, где Том снимал квартиру. В последнее время Рори неплохо зарабатывала, но почти все деньги уходили на жилье, одежду и постоянную няню для девочки, так что приехала она практически ни с чем. Стипендия аспиранта позволяла Тому сводить концы с концами, но не более того, поэтому он еще подрабатывал в университетской библиотеке. Сначала они думали попросить в долг у отца, жившего в Калифорнии, но отказались от этой мысли. Как и от помощи отчима в Нью-Джерси. Будучи подростком, Рори успела почудить, и обращаться к человеку, откровенно

презиравшему свою приемную дочь, ей не хотелось. Она еще не знала, а Том никогда ей этого не говорил, но Филипп Зорн в душе считал Рори виновной в смерти матери. После всего, что та от нее претерпела, единственной радостью для Джун стала маленькая внучка, которую нежданно-негаданно бросили на ее попечение. Но потом девочку так же неожиданно у нее забрали, и это, по мнению Зорна, его жену убило. Возможно, это излишне сентиментальная интерпретация событий, но доля правды в ней есть. Скажу прямо, когда мы хоронили Джун, эта мысль возникла и в моей голове.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Случайная перестановка звуков или слов (напр. мошки с кышками вместо кошки с мышками). – (Зд. и далее прим. перев.)

2

Подмена слова близким по звучанию (напр. Есть ли жизнь на Марксе?).

3

3-D – от «three-dimensional» (англ.) – трехмерное пространство.

4

Мрак, Распад, Смерть.

5

Флора обыгрывает фамилию Тома. Wood (англ.) – дерево.

6

Понял? (исп.)

7

Брайтман – дословно – «светлый человек».

8

Братья Дункель (фр.).

9

Дерево, стекло и сталь (англ.).

10

Не так ли? (фр.)

11

Так у автора. Наташа Ростова и Пьер Безухов – супружеская пара.

Купить: https://tellnovel.com/ru/oster_pol/bruklinskie-gluposti

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить